Э.Т.А. ГОФМАН

# Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами

# биографии капельмейстера Иоганнеса

# Крейслера, случайно уцелевшими

# в макулатурных

# листах

# том второй

#### Раздел третий.

#### МЕСЯЦЫ УЧЕНИЯ.

#### ПРИЧУДЛИВАЯ ИГРА СЛУЧАЯ

*(М. пр.)* Страстное томление, пылкое желание теснят нашу грудь; но вот наконец мы заполучили то, чего домогались с такими муками и терзаниями, и желание немедля хладеет в ледяном равнодушии, и мы отбрасываем прочь предмет наших вожделений, как сломанную игрушку. Но едва это произойдет, как наступает горькое раскаяние в поспешном поступке и мы уже алчем вновь. Так вся наша жизнь проносится между Желанием и Отвращением. Уж таковы мы, кошки! Слова эти верно живописуют мой род, откуда происходит также и надменный лев, что и побудило знаменитого Горнвиллу в тиковском «Октавиане» назвать его большой кошкой. Да, повторяю я, таковы мы, кошки, быть иными не в нашей власти, и кошачье сердце нечто весьма и весьма непостоянное.

Первейший долг честного биографа ничего не таить и ни в коей мере не щадить себя. Вот почему я, положив лапу на сердце, хочу признаться, что, невзирая на несказанное рвение, с каким я набросился на искусства и науки, во мне вдруг пробуждалась мысль о прекрасной Мисмис и частенько прерывала мои штудии.

Мне чудилось, что я не должен был порывать с нею, что я пренебрег верным любящим сердцем, лишь на миг ослепленным дурным наваждением. Ах, часто, когда я хотел усладить себя великим Пифагором (в ту пору я изрядно штудировал математику), нежная лапка в черном чулочке вдруг отодвигала прочь все мои катеты и гипотенузы, и передо мною вставала она, чудная Мисмис, в маленькой, неизъяснимо милой бархатной шапочке, и в прелестных глазах ее, цвета свежей травы, искрились лучи нежнейших упреков! Какие прыжки и пируэты, какие грациозные извивы хвоста! В восторге вновь воспламенившейся любви хочу я обнять прелестную, но – ах! – исчезает прочь дразнящее видение.

Немудрено, что грезы эти, прилетавшие из Аркадии любви, заставили меня погрузиться в некую унылость, каковая неминуемо повредила бы мне на избранном мною поприще наук и изящных искусств, тем более что вскоре она обратилась в леность, коей я не в силах был противостоять. Мощным усилием хотел я вырваться из этого тягостного состояния, единым духом вознамерившись вновь отыскать Мисмис. Но едва лишь я ставил лапу на первую ступень лестницы, дабы подняться в высшие сферы, где я мог бы найти свою милую, на меня находили стыд и робость, я снова опускал лапу на землю и мрачно брел под печку.

Невзирая на эту духовную угнетенность, я наслаждался необыкновенным телесным благоденствием. Если не запас моих познаний, то по крайней мере вес мой заметно увеличился. Я с удовольствием примечал, глядясь в зеркало, что мой круглощекий лик начинает приобретать вместе с юношеской свежестью и нечто, внушающее почтение.

Хозяин и тот заметил перемену в моем расположении духа. И вправду, прежде я мурлыкал и делал веселые прыжки, когда он угощал меня лакомым кусочком. Прежде я терся у его ног, кувыркался и прыгал ему на колени, когда он утром, встав с постели, восклицал: «Доброе утро, Мурр!» Теперь же я пренебрегал всем этим и довольствовался приветливым «мяу» да с гордым изяществом выгибал дугой спину – искусство, в котором, как известно благосклонному читателю, мы, коты, не имеем себе равных. Теперь я презирал даже столь милую мне прежде игру в птичку. Для молодых гимнастов и акробатов моего рода может оказаться весьма поучительным пояснение, какова эта игра. А именно: мой хозяин привязывал несколько гусиных перьев к длинной нитке и, дергая ее то вверх, то вниз, заставлял их и впрямь летать по воздуху. Я подстерегал их в углу и, приноровясь к такту движения, гонялся за ними до тех пор, пока не схватывал добычу и яростно не раздирал ее. Часто игра увлекала меня необыкновенно, я воображал перо настоящей птицей, входил в раж, и таким образом и дух мой и тело, одновременно упражняясь, развивались и крепли. Да, даже эту игру презрел я теперь; хозяин мог дергать свои перья сколько ему было угодно, я оставался недвижим на подушке. «Кот, – сказал он мне однажды, когда я лежал и жмурился, лишь слегка водя лапкой вслед перу, то и дело летавшему над подушкой возле самого моего носа, – кот, ты совсем не таков, как прежде: ты делаешься с каждым днем ленивее и неповоротливее! Я полагаю, ты жрешь и спишь сверх всякой меры».

Луч света заронили эти слова в мою душу. Только воспоминаниями о Мисмис, о поруганном рае любви объяснял я прежде мою вялую мрачность; теперь лишь я понял, сколь ощутительны притязания земной жизни – именно они удалили меня от моих высоких стремлений к наукам и поэзии. Есть вещи в природе, позволяющие постичь, отчего наша душа, прикованная к тирану, именуемому телом, вынуждена жертвовать ради него своей свободой. Под этими вещами я разумею преимущественно лакомую манную кашу, сваренную на молоке и приправленную маслом и сахаром, равно как и широкую, плотно набитую конским волосом подушку. Такую сладкую кашу служанка хозяина умела готовить совершенно божественно, и я каждое утро с величайшим аппетитом поглощал добрых две тарелки этого отличного кушанья. Однако подобный завтрак отбивал у меня всякий вкус к наукам, они представлялись мне черствым хлебом, и даже когда, оставив умозрение, я набрасывался на поэзию, то и в ней не находил услады. Самые прославленные творения новейших авторов, знаменитейшие трагедии увенчанных лаврами поэтов не могли удержать мой дух от праздного блуждания мыслей. Искусство служанки хозяина невольно вступало в единоборство с поэтами, и мне сдавалось, что она куда более смыслит в надлежащих пропорциях и гармонии сладкого и соленого, жирного и густого.

О пагубный дурман, мешающий телесные и духовные радости! Да, дурманом я зову это, ибо дурманящий сон овладевал мною и влек меня к иному, опасному предмету соблазна, к широкой, набитой конским волосом подушке, где я безмятежно засыпал. И тут же мне являлся пленительный образ драгоценной Мисмис! О небо, сколь удивительно все было связано меж собой: молочная каша, пренебрежение науками, меланхолия, мягкая подушка, прозаичность моей натуры, воспоминания об утраченной любви! Хозяин был прав: я ел и спал чересчур много! С каким стоическим мужеством пытался я быть умеренней, но слаба кошачья плоть: самые благие, самые великолепные намерения разлетались в прах от сладкого запаха молочной каши, тонули в гостеприимной пучине подушки.

И вот однажды я услышал, как хозяин, входя в комнату, говорил кому-то в сенях: «Пожалуй, я согласен! Может быть, общество его расшевелит. Но если вы будете выкидывать ваши глупые штуки, прыгать на стол, опрокинете на пол мою чернильницу или еще что-нибудь, я вышвырну к черту вас обоих!»

Сказав это, хозяин приоткрыл дверь и впустил кого-то. Это был не кто иной, как друг Муций. Я едва его узнал: шерстка, прежде гладкая и лоснящаяся, была взъерошена, кое-где свалялась, глаза глубоко запали; во всей его внешности и манерах, прежде вполне терпимых, хоть и немного неотесанных, теперь обозначалось нечто высокомерное и грубое.

– Ага, – фыркнул он на меня. – Ага, наконец-то я нашел тебя! И где? Под твоей проклятой печкой! Но позволь!.. – Он прыгнул к тарелке и вмиг уничтожил жареную рыбу, припасенную мною на ужин. – Скажи, – говорил он мне в промежутках, – скажи, где ты прячешься, черт побери! Почему ты не показываешься ни на одной крыше? Тебя никогда не увидишь там, где можно повеселиться.

Я объяснил, что, отказавшись от любви к прелестной Мисмис, я всецело предался наукам, а потому о прогулках нечего было и думать; к обществу же я нимало не стремлюсь, ибо у хозяина имею все, чего только можно пожелать: молочную кашу, рыбу, мясо, мягкую подушку и т. д. Спокойная, беззаботная жизнь для кота с моими наклонностями и дарованиями есть наивысшее благо, и я опасаюсь, как бы она не расстроилась, едва я выйду в свет, тем более что, как я с прискорбием чувствую, моя слабость к малютке Мисмис еще не вовсе прошла и встреча с ней может легко толкнуть меня на опрометчивый поступок, в каковом мне пришлось бы горько раскаиваться.

– Позднее ты можешь мне подкинуть еще рыбку, – вставил Муций, небрежно прошелся согнутой лапой по лицу, бороде и ушам и развалился возле меня на подушке.

– Счастье, – начал он вкрадчивым голосом, несколько секунд помурлыкав в знак своего удовольствия, – счастье для тебя, брат Мурр, что мне взбрело в голову навестить тебя в твоей келье и что твой хозяин беспрепятственно впустил меня! Тебе угрожает величайшая опасность, какая только может угрожать молодому, многообещающему коту-буршу, у которого голова на плечах и кровь в жилах, – я хочу сказать, тебе угрожает опасность сделаться отвратительным филистером. Ты тут обронил, что науки принуждают тебя дорожить своим временем и тебе недосуг встречаться с котами. Прости, брат, но я этому не верю! Такой круглый, упитанный, гладкий – ты вовсе не похож на книгоеда, изможденного ночными бдениями! Спокойная жизнь – будь она проклята! – и сделала тебя ленивым и неповоротливым! Уверяю тебя, ты чувствовал бы себя совсем иначе, кабы помаялся, как наш брат, прежде чем подцепил рыбью кость или поймал птичку.

– Я думал, – прервал я друга, – что ваше положение можно назвать прекрасным и вы счастливы. Ведь прежде вы были...

– Об этом, – гневно накинулся на меня Муций, – в другой раз. И что ты все время тычешь мне под нос твое «вы»! Нет, ты филистер и ничего не понимаешь в студенческих обычаях!

Я извинился перед разгневанным другом, и он продолжал уже мягче:

– Итак, я уже сказал, ты ведешь жизнь бездельника, брат Мурр, тебе нужно встряхнуться, нужно выйти в свет!

– О небо, – воскликнул я в ужасе, – что говоришь ты, брат Муций! Мне – выйти в свет? Неужели ты забыл – всего несколько месяцев тому назад я тебе рассказывал в погребе о том, как я однажды выпрыгнул в свет из английской коляски, какие опасности грозили мне отовсюду, как, наконец, меня спас добрый Понто и привел к моему хозяину.

Муций злобно засмеялся.

– Да, – сказал он, – в этом-то все и дело! Добряк Понто! Этот фатоватый шут, самовлюбленный и тщеславный лицемер, возившийся с тобою только потому, что у него тогда не было другого развлечения, а ты его забавлял. Попробовал бы ты подойти к нему на благородном собрании или на балу, он бы тебя не узнал – ты ведь не его породы. Да ведь он растерзает тебя за то, что ты посмел приблизиться к нему в неподобающем месте. Добряк Понто – это он тебя развлекал нелепыми человеческими историйками, вместо того чтобы посвятить тебя в светскую жизнь! Нет, мой дорогой Мурр, приключение твое столкнуло тебя совсем с иным жизненным кругом, чем тот, какой тебе предуказан. Извини меня за резкость, но все твои отшельнические штудии не только не принесут тебе никакой пользы, но даже скорее повредят. Ибо ты все-таки филистер, а во всем свете нет существа скучней и пошлей ученого филистера.

Я откровенно признался другу Муцию, что не вполне уразумел значение слова «филистер», так же как и его мнение на этот счет.

– О брат мой, – ответил Муций, приятно улыбнувшись, что его очень красило и на мгновение напомнило мне прежнего Муция. – О брат мой Мурр, напрасно я пытался бы объяснить тебе это, ибо ты никогда не постигнешь, что такое филистер, покуда сам остаешься им. Но если ты хочешь теперь же ознакомиться с некоторыми основными приметами кошачьего филистерства, я должен...

*(Мак. л.)* ...весьма странное зрелище. Посреди комнаты стояла принцесса Гедвига, лицо ее было смертельно бледно, мертв и неподвижен был ее взгляд. Принц Игнатий играл с ней как с заводной куклой. Он поднимал ее руку вверх – рука поднималась, он опускал ее вниз – рука опускалась. Он слегка толкал принцессу вперед – она шла; он останавливал ее – она застывала на месте; он усаживал ее в кресло – она садилась. Принц так увлекся этой игрой, что не заметил входящих.

– Что вы делаете, принц? – воскликнула княгиня. Потирая руки и хихикая, принц стал уверять ее, что сестра Гедвига теперь добрая и послушная, делает все, что он хочет, и совсем не ссорится с ним и не бранит его, как раньше. И с этими словами он снова начал, командуя по-военному, ставить принцессу во всевозможные позиции, и каждый раз, когда она как заколдованная застывала в том положении, в какое он ее ставил, он громко смеялся и подпрыгивал от радости.

– Это невыносимо, – простонала княгиня дрожащим голосом, и слезы заблестели в ее глазах, а лейб-медик подошел к принцу и воскликнул строго и повелительно:

– Оставьте принцессу в покое, всемилостивейший государь! – Затем он взял Гедвигу на руки, осторожно положил ее на софу и задернул полог. – Теперь, – обратился он к княгине, – принцессе нужнее всего полный покой. Я прошу, чтобы принц оставил комнату.

Принц Игнатий заупрямился, хныкал и жаловался, что вот всякие люди, которые не принцы и даже не дворяне, осмеливаются ему перечить. Он хочет остаться у сестры принцессы, она теперь ему милее самых красивых его чашек, и господин лейб-медик не должен ему ничего приказывать.

– Идите в вашу комнату, милый принц, – кротко сказала княгиня. – Принцессе нужно сейчас спать, а после обеда к вам придет фрейлейн Юлия.

– Фрейлейн Юлия! – воскликнул принц, смеясь и прыгая, как ребенок. – Фрейлейн Юлия! Ах, это прекрасно! Я покажу ей свои новые картинки, где в сказке о морском царе я изображен в виде принца Лосося с большим орденом. – Он церемонно поцеловал княгине руку и затем с гордым видом протянул лейб-медику свою руку для поцелуя, но тот схватил ее, подвел принца к двери и, почтительно кланяясь, раскрыл ее перед ним.

Принц остался весьма доволен тем способом, каким его выпроводили.

Княгиня – воплощенная скорбь – упала в кресло, опустила голову на руку и тихо проговорила с выражением глубочайшего страдания:

– Какой смертный грех тяготеет надо мной, за что небо карает меня так сурово? Сын, осужденный на вечное детство, – и теперь Гедвига – моя Гедвига! – И княгиня погрузилась в мрачное раздумье.

Между тем лейб-медик с трудом влил принцессе в рот несколько капель какого-то целительного снадобья, позвал камеристок и, наказав им немедля сообщить ему, если в состоянии принцессы произойдет хоть малейшее ухудшение, велел отнести так и не вышедшую из своего оцепенения Гедвигу в ее комнату.

– Ваша светлость, – обратился лейб-медик затем к княгине, – каким бы странным и тревожным ни казалось состояние принцессы, я все же смею вас заверить, что оно скоро пройдет без всяких опасных последствий. Принцесса страдает тем особым, странным родом столбняка, который встречается во врачебной практике так редко, что многие знаменитейшие врачи ни разу в своей жизни не имели случая его наблюдать. Поэтому я должен почитать себя поистине счастливым... – Тут лейб-медик запнулся.

– Ах, – сказала княгиня горько, – узнаю истинного лекаря, которого не трогает самое большое несчастье, если только он может обогатить свои познания.

– Совсем недавно, – продолжал лейб-медик, пропуская мимо ушей упрек княгини, – я нашел в одной ученой книге случай болезни, совершенно схожей с болезнью принцессы. Одна дама, рассказывает автор, прибыла из Везуля в Безансон хлопотать в суде по какой-то тяжбе. Важность дела, мысль, что потеря процесса переполнила бы чашу постигших ее несчастий, повергла бы ее в нужду и бедность, вызвала в ней сильнейшую тревогу, которая перешла в болезненную экзальтацию. Она проводила ночи без сна, почти не ела, а в церкви била земные поклоны с необычайным жаром; словом, ее болезненное состояние всячески давало себя знать. И, наконец, в тот самый день, когда ее дело должно было решиться, с ней внезапно приключилось, по мнению присутствовавших при этом, нечто вроде апоплексического удара. Приглашенные врачи нашли эту даму неподвижно сидящей в кресле; ее сверкающие, широко открытые глаза были устремлены ввысь, веки недвижимы, сплетенные руки воздеты к небу. Ее лицо, прежде печальное и бледное, казалось теперь цветущим, даже веселым и привлекательным, как никогда раньше; дыханье было свободно и ровно, пульс бился слабо, медленно, но ритмично, почти как у спокойно спящего человека. Ноги и руки были податливы и без всякого сопротивления принимали любое положение. Но болезненное состояние дамы – и это свидетельствовало о невозможности обмана – сказывалось в том, что она не могла сама переменить приданную ей позу. Ее дергали за подбородок – рот раскрывался да так и оставался открытым. Поднимали вверх ее руки, то одну, то другую, – они не опускались; их загнули за спину и подняли так высоко, что никто не мог бы долго продержаться в таком положении, а она держалась. Ее тело можно было сгибать как угодно, оно оставалось в полнейшем равновесии. Она казалась совершенно нечувствительной ко всему: ее трясли, щипали, мучили, ставили ногами на раскаленную жаровню, кричали в уши, что она выиграла процесс, – все было напрасно; она не подавала никаких признаков сознательной жизни. Мало-помалу она пришла в себя, но речь ее была бессвязна. Наконец...

– Продолжайте, – сказала княгиня, когда лейб-медик сделал паузу, – продолжайте! Не скрывайте от меня ничего, даже самого ужасного. Не правда ли, она сошла с ума, эта дама?

– Мне остается, – повел далее речь лейб-медик, – добавить к этому, что тяжелое состояние этой дамы длилось только четыре дня, что, когда ее привезли обратно в Везуль, она окончательно выздоровела, ее необыкновенная болезнь не оставила никаких дурных последствий.

Княгиня снова погрузилась в печальное раздумье, а лейб-медик тем временем распространялся о средствах лечения, которые он намерен применить к принцессе, и под конец расплылся в таких глубокомысленных рассуждениях, как если бы выступал на консилиуме перед ученейшими докторами.

– Чем, – перебила наконец княгиня словоохотливого лейб-медика, – чем могут помочь все премудрые науки, если здоровье духа находится в опасности?

Лейб-медик помолчал несколько мгновений, затем продолжал:

– Светлейшая княгиня, пример с необыкновенным столбняком, случившимся с дамой в Безансоне, показывает, что в основании этой болезни лежит причина психическая. Как только дама немного пришла в себя, лечение ее начали с того, что внушили ей бодрость, уверив, что она выиграла злополучную тяжбу. Опытнейшие врачи говорят в один голос, что такое состояние вызывается прежде всего каким-нибудь внезапным и сильным душевным потрясением. Принцесса Гедвига необычайно, в высшей степени раздражительна, возбудима, я бы даже сказал, что ее нервная система, в сущности, уже сама по себе несколько отклоняется от нормы. Весьма вероятно, что ее болезненное состояние вызвано также каким-то сильным душевным потрясением. Надо постараться открыть причину, и тогда, быть может, удастся благотворно воздействовать на психику принцессы. Поспешный отъезд принца Гектора... Вы знаете, государыня, что матери видят иной раз глубже любого врача и могут дать ему в руки наилучшее средство исцеления.

Княгиня выпрямилась и сказала холодно и гордо:

– Даже какая-нибудь мешанка оберегает тайны женского сердца – члены княжеских фамилий поверяют свои тайны только церкви и ее служителям, но врач не из их числа.

– Как можно, – живо воскликнул лейб-медик, – как можно так резко отделять духовное от телесного? Врач – второй духовник, и ему должно заглядывать в глубины психического бытия, в противном случае он на каждом шагу может ошибиться. Вспомните историю больного принца, светлейшая государыня!

– Довольно! – перебила княгиня врача с заметным раздражением. – Я никогда не унижусь до того, чтобы совершить что-либо противное приличию или допустить, будто что-то противное приличию, хотя бы только в мыслях или чувствах, могло вызвать болезнь принцессы.

С этими словами княгиня удалилась и оставила лейб-медика одного.

«Странная женщина эта княгиня! – обратился он к самому себе. – Она хотела бы уверить весь свет и себя в том числе, будто известка, которой природа связывает душу и тело, должна быть совсем особого сорта, ежели она предназначена для сотворения князей, и никак не похожа на ту, что идет на нас, бедных детей праха – простых бюргеров. Да не осмельтесь подумать, что у принцессы есть сердце, ибо вы должны следовать примеру того испанского царедворца, что отверг шелковые чулки, поднесенные в подарок добрыми голландскими бюргерами его повелительнице, – он счел это неприличным напоминанием о том, что у испанской королевы такие же ноги, как и у всякой другой женщины. И все же держу пари: причину ужаснейшего нервного заболевания, которое постигло принцессу, нужно искать в сердце – этой лаборатории всех женских горестей».

Лейб-медик вспомнил о поспешном отъезде принца Гектора, о непомерной, болезненной раздражительности принцессы, о ее страстном, как он полагал, чувстве к принцу, и ему показалось несомненным, что какая-нибудь неожиданная ссора влюбленных, глубоко задев принцессу, вызвала ее внезапную болезнь.

Из дальнейшего мы увидим, основательны ли были предположения лейб-медика. Что до княгини, то, вероятно, она предполагала нечто подобное и потому именно и сочла противными приличию все расспросы и выпытыванья врача – ведь всякое глубокое чувство при дворе отвергали как нечто низменное и непозволительное. Княгиня была от природы женщина с душой и сердцем, но странное, смешное и отвратительное чудовище, чье имя – этикет, как зловещий кошмар, сдавило ей грудь, и ни один вздох, ни одно внутреннее движение отныне не вырывалось наружу. Поэтому-то она и сохраняла самообладание даже при таких сценах, как та, что произошла между принцем и принцессой, и гордо указывала на дверь всякому, кто спешил ей на помощь.

Покуда во дворце происходило все это, в парке творилось нечто такое, о чем тоже следует рассказать.

В кустах слева от входа стоял толстый гофмаршал; вынув из кармана маленькую золотую табакерку и взяв щепотку табаку, он обтер ее несколько раз рукавом камзола, протянул камердинеру князя и сказал:

– Драгоценнейший друг, мне известно, вы питаете слабость к подобным искусным безделицам, примите же настоящую табакерку как ничтожный знак моего к вам сердечного благоволения, на которое вы всечасно можете рассчитывать. Скажите же, милейший, как обстояло дело с этой странной, необычайной прогулкой?

– Почтительнейше благодарю, – ответил камердинер, кладя золотую табакерку в карман, затем он откашлялся и продолжал: – Могу вас уверить, ваше высокопревосходительство, что мой светлейший повелитель весьма встревожены с того времени, как у их светлости принцессы Гедвиги пропали, неизвестно почему, их пять чувств. Сегодня они целые полчаса стояли у окна, совершенно выпрямившись, и так ужасно барабанили светлейшими перстами правой руки по стеклу, что оно звенело и дребезжало. Однако все это были отличные марши, приятной мелодии и бодрого духа, как любил говорить мой покойный зять, придворный трубач. Ваше превосходительство знает, что мой покойный зять, придворный трубач, был искусный музыкант. У него было фантастическое басовое тремоло, его верхний регистр, его нижний регистр звучали чисто, как у соловья, а уж что касается среднего...

– Знаю, – перебил гофмаршал болтуна, – знаю, милейший! Ваш покойный зять был превосходнейший трубач, но теперь... Что делали, что говорили их светлость, когда они изволили барабанить марши?

– Делали, говорили? – сказал камердинер. – Гм! Не очень-то много. Их светлость обернулись, посмотрели на меня поистине испепеляющим взглядом, устрашающе дернули за колокольчик и громко закричали: «Франсуа, Франсуа!» – «Ваша светлость, я уже здесь!» – воскликнул я. Но всемилостивейший тгаш повелитель сказали гневно: «Осел, так бы сразу и говорил! – и сейчас же: – Одеть для прогулки!» Я исполнил приказание. Их светлость изволили надеть шелковый зеленый кафтан без звезды и направились в парк. Они запретили мне следовать за ними, но, ваше превосходительство, надо ведь знать, где находятся всемилостивейший повелитель, если вдруг какое-нибудь несчастье... Ну, словом, я следовал за ними издалека и убедился, что всемилостивейший повелитель направились в рыбачью хижину.

– К маэстро Абрагаму? – воскликнул гофмаршал в полном изумлении.

– То-то и оно! – заметил камердинер и состроил многозначительную, таинственную физиономию.

– В рыбачью хижину, – повторил гофмаршал, – к маэстро Абрагаму. Никогда их светлость не посещали маэстро в рыбачьей хижине. – Наступило многозначительное молчание; затем гофмаршал спросил: – И ничего более не произнесли их светлость, решительно ничего?

– Решительно ничего, – ответил камердинер важно. – Однако, – добавил он с лукавым смешком, – окно рыбачьей хижины выходит в густой кустарник; в нем есть прогалина. Оттуда можно разобрать каждое слово, которое скажут в хижине. Можно было бы...

– О, если б вы сделали это, любезнейший! – воскликнул восхищенный гофмаршал.

– Слушаюсь, – сказал камердинер и стал осторожно прокрадываться вперед.

Но когда он вылез из кустарника, он наткнулся прямо на князя, который как раз возвращался во дворец, и чуть не сшиб его с ног. «Vous &#234;tes un grand [[1]](#footnote-0) болван!» – загремел на него князь, бросил гофмаршалу холодное «dormez bien» [[2]](#footnote-1) и удалился во дворец, сопровождаемый камердинером.

Совершенно ошеломленный, гофмаршал застыл на месте, бормоча: «Рыбачья хижина! Маэстро Абрагам! Dormez bien», – и решил без промедления отправиться к канцлеру, дабы посовещаться с ним о неслыханном событии, а также, если это окажется под силу, предугадать новое расположение светил на придворном небе, предвещаемое этим событием.

Маэстро Абрагам проводил князя до кустарника, где стояли гофмаршал и камердинер, затем возвратился – так велел ему князь, не желавший, чтобы его заметили из окон дворца в обществе маэстро. Благосклонный читатель знает, как хорошо удалось князю скрыть свой таинственный визит в рыбачью хижину к маэстро Абрагаму. Но, кроме камердинера, еще одна особа подслушала князя без его ведома.

Маэстро Абрагам уже подходил к самой хижине, как вдруг совершенно неожиданно из вечернего сумрака, затемнившего дорожки, ему навстречу вышла советница Бенцон.

– А, – воскликнула Бенцон с горьким смехом, – князь просил у вас совета, маэстро Абрагам. Вы и вправду подлинная опора княжеского дома; и отца и сына жалуете своей мудростью и богатым опытом, а когда добрый совет слишком дорог или вовсе недоступен...

– На этот случай, – перебил советницу маэстро Абрагам, – имеется советница, вернее, блистательная звезда, что одна здесь все озаряет и влиянию которой бедный старый органщик обязан своим существованием, а также возможностью спокойно завершить свой скромный жизненный путь.

– Не шутите так горько, маэстро Абрагам! – сказала Бенцон. – Звезда, озаряющая своим сияньем все вокруг, может быстро померкнуть, а потом и вовсе исчезнуть с горизонта. Весьма странные события, кажется, всколыхнули этот замкнутый семейный круг, который жители этого городка, да еще какой-нибудь десяток людей, кроме них, привыкли называть двором. Быстрый отъезд страстно ожидавшегося жениха, опасное состояние Гедвиги – да, все это сильно потрясло бы князя, не будь он таким бесчувственным человеком.

– Не всегда вы были такого мнения, госпожа советница, – перебил ее маэстро Абрагам.

– Я не понимаю вас, – сказала Бенцон презрительным тоном, бросив на маэстро пронизывающий взгляд, и быстро отвернулась.

Князь Ириней, доверяя маэстро Абрагаму и даже признавая за ним духовное превосходство, отбросил прочь всю свою княжескую щепетильность и, навестив органного мастера в рыбачьей хижине, излил перед ним душу, однако умолчал о взглядах Бенцон на все тревожные события дня. Маэстро знал это и потому вовсе не поразился волнению советницы, хотя и был удивлен тем, что она, при ее холодном и замкнутом нраве, не смогла его скрыть.

Но советница, видно, была глубоко уязвлена тем, что присвоенная ею монополия в опеке над князем снова подвергается опасности, да еще в самую критическую, роковую минуту. По некоторым причинам, каковые, быть может, выяснятся позже, советница горячо желала брака принцессы Гедвиги с принцем Ректором. Союз этот, считала она, поставлен на карту, и всякое вмешательство кого-нибудь третьего представлялось ей опасным. Помимо того она впервые увидела себя окруженной необъяснимыми тайнами, впервые молчал и князь. Могла ли она, привыкшая держать в своих руках все нити интриг этого химерического двора, быть более обижена?

Маэстро Абрагам хорошо знал, что лучшее возражение рассерженной женщине – нерушимое спокойствие; поэтому он даже слова не проронил и молча шагал рядом с Бенцон, которая, углубившись в свои мысли, направлялась к мосту, уже знакомому благосклонному читателю. Облоко-тясь на перила, советница устремила свой взор на далекий кустарник, которому солнце, как будто прощаясь с ним, посылало пламенные, сверкающие лучи.

– Прекрасный вечер, – произнесла Бенцон, не оборачиваясь.

– Да, – ответил маэстро Абрагам, – тихий, спокойный, ясный, как искренняя, безмятежная, не ведающая зла душа.

– Не вините меня, любезный маэстро, – продолжала советница сухо, оставив свой обычный дружеский тон, – за то, что я чувствую себя больно задетой, когда князь вдруг избирает своим доверенным только вас и советуется только с вами, да к тому же еще о таких делах, в которых опытная женщина может лучше помочь и советом и делом. Я не могла скрыть эту мелочную досаду, но теперь она уже прошла, совсем прошла. Я совершенно спокойна – ведь нарушена только форма. Князю следовало бы самому рассказать мне все, что я теперь узнала другим способом, и я могу только вполне одобрить то, что вы ему говорили, дорогой маэстро! Сознаюсь, я совершила нечто непохвальное. Но так как побудило меня к этому не столько женское любопытство, сколько глубокое участие ко всему, что затрагивает княжеское семейство, меня можно извинить. Знайте же, маэстро: я подслушивала вашу беседу с князем и разобрала все до слова...

При этих словах Бенцон маэстро Абрагама охватило странное чувство – смесь язвительной иронии и глубокой горечи. Так же, как и княжеский камердинер, он давно догадался, что, спрятавшись в кустах под окном рыбачьей хижины, можно легко услышать все, что в ней говорят, но с помощью искусного акустического приспособления ему удалось устроить так, что от разговора в хижине до находящегося снаружи человека доходил только смутный, нечленораздельный шум; разобрать в нем хотя бы слово было совершенно невозможно. Вот почему жалкой показалась ему попытка Бенцон прибегнуть ко лжи, дабы проникнуть в тайну, о которой она смутно догадывалась, тогда как князь, ничего о ней не подозревая, никак не мог открыть ее маэстро Абрагаму. О чем толковали князь с маэстро в рыбачьей хижине, читатель узнает после.

– О, – воскликнул маэстро, – о моя драгоценнейшая, вас привел к рыбачьей хижине живой ум предприимчивой, умудренной опытом женщины. Как смог бы разобраться я, бедный человек, хоть и старый, однако неопытный во всех этих вещах, без вашей помощи! Я как раз собирался подробно рассказать вам, что открыл мне князь; но теперь в этом отпала надобность – ведь вам уже все известно. Быть может, драгоценнейшая, вы окажете мне честь и выскажете с полной откровенностью все ваши опасения; быть может, все не так страшно, как оно кажется на первый взгляд.

Маэстро Абрагаму так хорошо удался тон простодушной доверчивости, что Бенцон, несмотря на всю ее проницательность, никак не могла решить, мистифицирует он ее или нет, и в растерянности упустила ту нить, которую было поймала, чтобы связать из нее хитроумную петлю для маэстро. И вот, тщетно стараясь выжать из себя хоть слово в ответ, стояла она на мосту как пригвожденная и смотрела вниз на озеро.

Маэстро несколько минут наслаждался ее терзаниями; но вскоре его мысли обратились к происшествиям этого дня. Он хорошо знал, что Крейслер стоял в их центре; глубокая скорбь о потере любимейшего друга овладела им, и невольно у него вырвалось восклицание:

– Бедный Иоганнес!

Тут Бенцон быстро повернулась к нему и сказала с внезапной порывистостью:

– Как, маэстро Абрагам, неужели вы так безрассудны, чтобы поверить в гибель Крейслера? Разве окровавленная шляпа – доказательство? И что могло бы так неожиданно привести его к ужасному решению застрелиться? Но тогда нашли б и его самого.

Маэстро немало удивился, услышав, что Бенцон говорит о самоубийстве, когда напрашивалось совсем иное подозрение. Но прежде чем он собрался возразить, советница воскликнула:

– Слава богу, что он исчез, этот несчастный, причиняющий всюду, где он появляется, непоправимое зло. Его страстная натура, его озлобление – иначе я не могу определить его хваленый юмор – зароняют тлетворные семена во всякую чувствительную душу, с которой он заводит свою ужасную игру. Если бы издевательское пренебрежение всеми условностями, упрямое сопротивление всем принятым формам обнаруживало превосходство ума, то мы все должны были бы преклонить колена перед этим капельмейстером; но пусть уж он лучше оставит нас в покое и не восстает против всего, что подсказано трезвым взглядом на жизнь и признано основой нашего благополучия. А посему хвала небесам, что он исчез! Я надеюсь, что никогда больше его не увижу!

– И все-таки, – мягко заговорил маэстро, – вы когда-то были другом моего Иоганнеса, госпожа советница, вы заботились о нем в самую скверную, критическую пору его жизни и сами направляли его на дорогу, откуда его совлекли как раз те условности, которые вы так усердно защищаете! Почему же вы теперь вдруг напали на моего славного Крейслера? Что дурное вдруг открыли в нем? Разве можно его ненавидеть лишь за то, что, когда волею случая он попал в новый для него круг, жизнь встретила его немилостиво, лишь за то, что ему угрожал преступный замысел и за ним крался итальянский бандит?

При этих словах маэстро советница заметно вздрогнула.

– Что за адская мысль, – сказала она дрожащим голосом, – зародилась у вас в мозгу, маэстро Абрагам? Но если это и так, если и вправду Крейслер погиб, то это была справедливая месть за невесту, которую он свел с ума. Внутренний голос подсказывает мне, что один Крейслер виновен в ужасном недуге принцессы. Беспощадно напрягал он нежные струны души Гедвиги, пока они не лопнули.

– В таком случае итальянский молодчик, – ядовито ответил маэстро Абрагам, – оказался так скор на руку, что его месть опередила само злодеяние. Вы ведь слышали, сударыня, все, о чем мы говорили с князем в рыбачьей хижине, и, стало быть, знаете, что принцесса Гедвига впала в оцепенение в тот самый миг, когда в лесу грянул выстрел.

– Право, – сказала Бенцон, – можно поверить во все химерические россказни, которыми нас теперь потчуют, в передачу мыслей на расстоянии и прочее. Но повторяю – какое счастье для нас, что он исчез! Состояние принцессы может измениться – и изменится! Судьба удалила нарушителя нашего покоя, и признайтесь сами, маэстро Абрагам, ведь в душе нашего друга царил такой разлад, что навряд ли он в этой жизни мог обрести мир. Итак, если даже допустить, что...

Но советница не кончила; маэстро Абрагам, с трудом сдерживавший свой гнев, внезапно вспыхнул.

– Почему вы все против Иоганнеса? – воскликнул он, повысив голос. – Какое зло он вам причинил? Зачем лишаете его пристанища и самого малого местечка на земле? Вы не знаете? Ну, так я вам скажу. Крейслер не чета вам; он не понимает ваших вычурных и пустых речей. Стул, который вы ему подставляете, чтобы он занял место в вашем кругу, для него слишком мал и узок. Он ничем не походит на вас, и это вас злит. Он не признает вечными те договоры, что были заключены вами, когда вы устраивали вашу жизнь; он считает даже, что в своем безумном ослеплении вы не видите подлинной жизни и что та чопорная важность, с коей вы мните управлять царством, которое всегда останется для вас за семью замками, поистине смехотворна, – и все это называете вы озлоблением. Превыше всего он почитает иронию, порожденную глубоким проникновением в суть человеческого бытия; эту иронию можно назвать прекраснейшим даром природы, ибо природа черпает ее из чистейшего источника своей внутренней сущности. Но вы – важные, серьезные люди, вы не расположены иронизировать и шутить. Дух истинной любви живет в нем; но согреет ли он оледеневшее навеки сердце, где никогда и не теплилась искра, которую этот дух мог бы раздуть в пламя? Вы не переносите Крейслера, потому что вам не по нутру его превосходство над вами, которого вы не можете не признать; потому что вы сторонитесь его как человека, чьи мысли направлены на более высокие предметы, чем это принято в вашем маленьком мирке.

– Маэстро, – глухо произнесла Бенцон, – горячность, с которой ты защищаешь своего друга, завела тебя слишком далеко. Ты хотел меня уязвить? Что ж, это тебе удалось, ты разбудил во мне мысли, спавшие уже давно-давно. Ты говоришь, оледенело мое сердце? А знаешь ли ты, слышало ли оно когда-нибудь приветливый голос любви и не нашла ли я утешенье и покой только в тех условностях, что так презирал необузданный Крейслер? И не думаешь ли ты, старик, тоже испытавший немало страданий, что стремление возвыситься над этими условностями и приобщиться к мировому духу, обманывая самого себя, – опасная игра? Я знаю, холодной и бездушной прозой во плоти бранит меня Крейслер, и ты только повторяешь его мысли, называя меня оледеневшей; но проникали ли вы когда-нибудь сквозь этот лед, который уже издавна стал для меня защитным панцирем? Для мужчин в любви не вся жизнь, это лишь ее вершина, откуда еще ведут вниз надежные пути; для нас же высший миг озаренья, пробуждающий нас к жизни и определяющий весь смысл ее, – это миг первой любви. И захочет враждебный рок отравить этот миг – вся жизнь слабой женщины погублена, и она обречена на безотрадное прозябание; но женщина, более сильная духом, превозмогает себя и как раз в обыденных житейских условиях обретает новое равновесие, дарующее ей мир и покой. Дай мне сказать тебе все, старик, – здесь, в ночном мраке, поглощающем мои признанья, дай мне сказать тебе все! Когда пришел тот миг моей жизни, когда я увидела того, кто зажег во мне пыл самой глубокой любви, на какую только способно женское сердце, – я стояла перед алтарем с тем самым Бенцоном, который потом стал мне лучшим мужем на свете. Полное его ничтожество дало мне все, чего только я могла желать, – покойную жизнь, и никогда ни одна жалоба, ни один упрек не вырвались из моих уст. Я ограничивала себя сферой обыденного, и если даже в этой сфере случалось нечто, увлекавшее меня в сторону, если некоторые свои поступки, которые можно счесть недозволенными, я оправдываю лишь случайным стечением обстоятельств, то осуждать меня вправе лишь та женщина, которая, как я, прошла до конца тернистый путь, ведущий к отреченью от всякого более высокого счастья – пусть оно только сладостное мечтанье. Со мною познакомился князь Ириней. Но я умолчу о том, что давно уже прошло; только о настоящем может идти речь. Я позволила тебе заглянуть в мою душу, маэстро Абрагам. Ты знаешь теперь, почему я опасаюсь вторжения всего чуждого, всякого необычного начала в события, здесь происходящие. Моя собственная судьба в те роковые часы моей жизни встает передо мной как глумливый, предостерегающий призрак. Я обязана спасти тех, кто мне дорог; мой план готов. Маэстро Абрагам, не становитесь мне поперек дороги, если же вы хотите бороться со мной, то остерегайтесь, как бы я не раскрыла все ваши хитрые фокусы!

– Несчастная женщина! – воскликнул маэстро Абрагам.

– Меня называешь ты несчастной, – возмутилась советница, – меня, которая смогла победить враждебный рок и там, где, казалось, уж все потеряно, найти покой и удовлетворение?

– Несчастная женщина, – снова воскликнул маэстро тоном, говорившим о его глубоком волнении, – бедная, несчастная женщина! Ты думаешь, что нашла покой и удовлетворение, и не подозреваешь, что это отчаянье, подобно вулкану, исторгло из твоей души весь ее огненный пыл! В своем угрюмом ослепленье ты принимаешь мертвый пепел, где не распустится больше ни почки, ни цветка, за тучное поле самой жизни и надеешься еще снять с него плоды. Ты хочешь возвести замысловатое здание на фундаменте из камня, раздробленного молнией, и не страшишься, что оно рухнет в то мгновенье, когда будут весело развеваться пестрые ленты венка, возвещающего победу строителя? Юлия, Гедвига – я знаю, для них и сотканы те искусные планы! Несчастная женщина, берегись, как бы то гибельное чувство, то озлобление, в котором ты несправедливо упрекаешь моего Иоганнеса, не вырвалось из глубин твоей собственной души; как бы все твои мудрые прожекты не оказались только рогатками на пути к тому счастью, которым ты никогда не наслаждалась сама и которого хочешь теперь лишить своих близких. О твоих планах, а равно и о пресловутых условностях, якобы принесших тебе покой, на самом же деле толкнувших тебя на позорные поступки, я знаю куда больше, чем ты предполагаешь.

Глухой нечленораздельный крик, вырвавшийся у Бенцон при этих словах маэстро, выдал ее глубокое потрясение. Органщик остановился; но так как Бенцон тоже молчала, не двигаясь с места, он хладнокровно продолжал:

– У меня нет ни малейшей охоты ввязываться в какую бы то ни было борьбу с вами, многоуважаемая. А что касается моих так называемых фокусов, то вам, почтеннейшая госпожа советница, прекрасно известно, что с тех пор, как покинула меня моя Невидимая девушка... – И вдруг мысль о потерянной Кьяре сжала сердце старика такой тоской, какой он давно не испытывал. Ему показалось, будто он видит ее образ в темной дали, будто он слышит ее сладостный голос. – О Кьяра, моя Кьяра! – воскликнул он в мучительной скорби.

– Что с вами? – спросила Бенцон, быстро обернувшись к нему. – Маэстро Абрагам, что за имя вы произнесли? Однако я повторяю, оставьте в покое прошлое! Судите обо мне не с той странной точки зрения на жизнь, которую вы разделяете с Крейслером. Обещайте мне не злоупотреблять доверием, которым почтил вас князь Ириней, обещайте не становиться мне поперек дороги!

Но маэстро так глубоко погрузился в скорбные воспоминания о своей Кьяре, что едва слышал, о чем ему говорила советница, и отвечал ей невпопад.

– Не отталкивайте меня, – продолжала советница. – Вы, кажется, и в самом деле осведомлены о многом лучше, нежели я предполагала; но возможно, что и я владею тайнами, представляющими для вас большую ценность, так что я, наверное, смогла бы оказать вам услугу, о которой вы даже и не помышляете. Будем вместе властвовать над этим маленьким двором – он и впрямь нуждается в помочах. «Кьяра», – воскликнули вы с такой тоской, что...

Сильный шум в замке прервал советницу. Маэстро Абрагам очнулся от своих грез; шум...

*(М. пр.)* ...прибавить следующее. Кот-филистер даже при сильной жажде приступает к миске с молоком с величайшей осторожностью, ему важно прежде всего не замочить усов и бороды, дабы соблюсти благопристойность, ибо благопристойность превыше всего. Если ты придешь в гости к коту-филистеру, то он предложит тебе все, что угодно, но угостит лишь заверениями в дружбе, когда ты соберешься уходить; сам же после в одиночку и украдкой съест все лакомые кусочки, которые он тебе предлагал. Кот-филистер благодаря верному, безошибочному чутью везде, на чердаке, в погребе и т. п., умеет сыскать себе лучшее местечко и растянуться там с наивозможнейшими удобствами и приятностью. Он много говорит о своих добрых качествах и о том, что – хвала небу! – он не может пожаловаться на судьбу за невнимание к этим добрым качествам. Весьма велеречиво объясняет он тебе, как заполучил теплое место, как сохраняет его за собой и что еще сделает, дабы улучшить свое положение. Но если ты хочешь рассказать ему наконец что-нибудь о себе самом и своей судьбе, не столь благосклонной, он немедля зажмуривает глаза, поджимает уши, притворяясь, будто спит или просто мурлыкает. Кот-филистер прилежно вылизывает и начищает свою шкуру до блеска, и, даже охотясь за мышами, он отряхивает лапы на каждом шагу, как только попадает в сырое место; пусть он и прозевает дичь, зато при всех обстоятельствах он пребудет изящным, аккуратным, пристойно одетым субъектом. Кот-филистер боится и избегает малейшей опасности, и если тебе что-нибудь угрожает и ты просишь его о помощи, он, расточая священнейшие клятвы в своем дружеском участии, чрезвычайно сожалеет, что именно сейчас его положение и разные причины, с коими он должен считаться, не позволяют ему тебе помочь. Вообще все дела и поступки кота-филистера всегда зависят от тысячи тысяч соображений. Так, например, он учтив и любезен даже с маленьким мопсом, весьма чувствительно укусившим его за хвост, учтив, чтобы не испортить отношений с дворовой собакой, чьей протекции он сумел добиться, и только ночью, исподтишка выцарапает он глаз этому мопсу. День спустя он выражает свое сердечное соболезнование дорогому другу – мопсу и обличает злобу коварных врагов. Впрочем, все его уловки подобны хорошо устроенной лисьей норе, позволяющей ему всегда улизнуть от тебя в тот момент, когда ты считаешь его уже пойманным. Охотнее всего кот-филистер пребывает под родной печкой, где он чувствует себя в безопасности; крыша – не по нему: от неоглядного простора у него кружится голова. Итак, вы видите, друг Мурр, это и есть ваш образ жизни. Ну а теперь, если я вам скажу, что кот-бурш прям, честен, бескорыстен, сердечен, всегда готов помочь другу, что ему неведомы никакие другие соображения, кроме предписываемых честью и совестью, словом, что кот-бурш – полный антипод кота-филистера, то вам будет нетрудно возвыситься над филистерством и стать настоящим, порядочным котом-буршем.

Живо почувствовал я справедливость слов Муция. Я понял, что не знал только самого слова «филистер», но характер этот был мне очень даже знаком, ибо я встречал уже многих филистеров, то есть скверных малых нашего рода, которых я презирал ото всей души. Тем болезненнее чувствовал я поэтому свое тяжкое заблуждение, из-за которого я мог бы попасть в категорию этих презренных личностей, и решил следовать во всем совету Муция, чтобы скорее стать порядочным котом-буршем. Один молодой человек рассказал однажды моему хозяину о каком-то неверном друге и обрисовал его очень странным, непонятным мне выражением. Он его назвал «напомаженным малым». Я подумал, что прилагательное «напомаженный» очень подходит к существительному «филистер», и спросил мнение друга Муция. Едва произнес я слово «напомаженный», как Муций, ликуя, подпрыгнул и, крепко обняв меня, воскликнул:

– Милый друг, теперь я убедился, что ты меня вполне понял. Да, напомаженный филистер и есть то презренное создание, которое посягает на благородных буршей, и наше горячее желание травить его до смерти, где бы оно нам ни попадалось. Да, друг Мурр, теперь ты доказал свое глубокое, верное чутье ко всему благородному и великому; позволь же еще раз прижать тебя к этой груди, где бьется честное немецкое сердце. – И тут друг Муций обнял меня снова и сообщил, что в ближайшую же ночь намерен ввести меня в круг буршей; в полночь я должен явиться на крышу, откуда он поведет меня на пирушку к Пуффу, старосте котов-буршей.

В комнату вошел хозяин... Я, как всегда, прыгнул ему навстречу, потерся об него и стал кататься по полу, чтобы выказать ему мою радость. Муций также уставился на него, довольно поблескивая глазами. Хозяин пощекотал мне слегка голову и шею, окинул взглядом комнату и, найдя все в должном порядке, сказал:

– Вот это правильно! Вы вели себя тихо и мирно, как подобает порядочным, благовоспитанным людям. Это заслуживает награды.

С этими словами он пошел к двери, ведущей в кухню, и мы, Муций и я, отгадав его благодетельную мысль, побежали вслед с веселым «мяу-мяу-мяу!». И в самом деле, хозяин открыл кухонный шкаф и достал оттуда остовы и мелкие косточки двух цыплят, которых он вчера уничтожил. Известно, что мой род считает куриные косточки деликатнейшим лакомством на свете, потому-то глаза Муция и заблистали ярким огнем; он изогнул свой хвост грациознейшим образом и громко замурлыкал, когда хозяин поставил перед нами миску на пол. Хорошо помня о «напомаженном филистере», я подвинул другу Муцию лучшие кусочки, как-то: шейки, грудки, гузки, и удовольствовался более жесткими костями крылышек и ножек. Когда мы справились с цыплятами, я хотел было спросить друга Муция, не угодно ли ему чашку сладкого молока. Но «напомаженный филистер» крепко сидел у меня в голове, и я, отказавшись от этой церемонии, немедля вытащил чашку, стоявшую, как я знал, под шкафом, и приветливо пригласил Муция распить ее со мной, чокнувшись с ним за его здоровье. Муций вылакал ее дочиста, потом пожал мне лапу и сказал со слезами радости на глазах:

– Поистине, друг Мурр, ты живешь, как Лукулл! Но вы доказали мне, что верное, честное, благородное сердце бьется в вас, что суетные утехи мирские не совратят вас на путь презренного филистерства. Благодарю вас, сердечно благодарю!

Честным немецким пожатием лапы, по обычаю предков, обменялись мы с ним на прощанье. Муций, должно быть желая скрыть слезы умиления, тут же отважным прыжком выскочил через открытое окно на близлежащую крышу. Даже я, кого природа одарила в избытке пружинистой силой, изумился этому смелому прыжку, и мне представился случай вновь воздать хвалу моему роду, состоящему из прирожденных гимнастов, кои не нуждаются ни в шестах, ни в трамплинах.

Помимо этого, на примере друга Муция я убедился, сколь часто под грубой, отпугивающей внешностью таится нежная, чувствительная душа.

Я вернулся в комнату и улегся под печкой. Здесь, в одиночестве размышляя о том, как сложилось все мое прежнее бытие, обозревая мое недавнее душевное состояние, весь мой образ жизни, ужаснулся я при мысли, сколь близок был я к бездне, и друг Муций представился мне, невзирая на кое-где свалявшуюся шубку, прекрасным ангелом-спасителем. В новый мир должен войти я, – я должен заполнить пустоту в груди, сделаться другим котом! Как трепетало мое сердце в радостном и боязливом ожидании!

Было еще далеко до полуночи, когда я попросил хозяина обычным «мя-яу» выпустить меня.

– Охотно, – отвечал он, отворяя двери, – охотно, Мурр. Вечное подпечколежанье и сон тебе ничего хорошего не принесут. Иди-иди, появись опять в свете, побудь среди котов. Может быть, ты найдешь родственных тебе по духу хвостатых юношей, с которыми ты развлечешься и делом и шуткой.

Ах, сколь верно предчувствовал хозяин, что предо мной занимается заря новой жизни! Наконец, когда пробило полночь, явился друг Муций и повел меня по крышам соседних домов на итальянскую, почти плоскую крышу, где десять статных, но одетых так же небрежно и странно, как Муций, котов-юношей встретили нас громкими кликами ликования. Муций представил меня друзьям, превознес мои достоинства, мой верный, честный нрав, главным образом напирая на то, как радушно угостил я его рыбой, куриными косточками и сладким молоком, и в заключение сказал, что я хотел бы войти в их компанию как добрый кот-бурш. Все дали свое согласие.

Тут произошли некие торжественные церемонии, о коих я умолчу, ибо благосклонные читатели моего рода могут заподозрить, будто я вступил в запрещенный орден, и еще, чего доброго, заставят меня держать ответ за это. Однако я заверяю с полной искренностью, что о каком-нибудь ордене со всеми его атрибутами, как, например, статутами, тайными знаками и т. д., даже и речи не было; наш союз основывался единственно на сходстве убеждений. Ибо вскоре объявилось, что каждый из нас предпочитает молоко – воде и жаркое – хлебу.

После окончания церемоний я получил от каждого братский поцелуй, все присутствовавшие коты пожали мне лапу и стали называть меня на «ты». Потом мы уселись за простую, но веселую трапезу, за коей последовала изрядная попойка. Муций изготовил отменный кошачий пунш. Если какой-либо юноша-кот, охотник до наслаждений, воспылает жаждой узнать рецепт этого драгоценного напитка, я – увы! – не смогу ему дать о том никаких удовлетворительных сведений. Мне ведомо лишь, что изысканная тонкость сего пунша, равно как и его победительная сила, достигается преимущественно изрядной примесью селедочного рассола.

Голосом, загремевшим далеко по крышам, староста Пуфф затянул прекрасную песню «Gaudeamus igitur» [[3]](#footnote-2). С неизъяснимым блаженством чувствовал я, что и духом и телом я истинный «juvenis» [[4]](#footnote-3), и не желал думать ни о какой «tumulus» [[5]](#footnote-4), ибо нашему роду жестокий рок редко посылает тихое упокоение в земле. Пели и другие прекрасные песни, как, например, «Пускай политики болтают». И, наконец, староста Пуфф ударил мощной дланью по столу и провозгласил, что теперь надлежало бы спеть истинно вдохновенную песнь посвящения, а именно: «Ессе quam bonum...» [[6]](#footnote-5), и затянул тотчас хорал «Ессе...» и т. д. и т. д.

Никогда раньше не слышал я эту песню, столь глубокую по мысли, столь истинно гармоническую и мелодическую по своей композиции, что ее с полным правом можно назвать чудесной и таинственной. Творец ее, насколько мне ведомо, доныне неизвестен; многие приписывали ее великому Генделю; другие, напротив того, утверждали, будто бы она существовала уже задолго до времени Генделя, ибо, как гласит виттенбергская хроника, ее пели, когда принц Гамлет еще состоял в фуксах. Однако безразлично, кто бы ее ни сочинил, – это творение великое, бессмертное, и более всего удивляет в нем, какой простор для приятнейших, неисчерпаемых импровизаций предоставляет певцу соло, искусно вплетенное в хор. Некоторые из этих импровизаций, услышанные мною в ту ночь, я сохранил в памяти.

Едва хор умолк, пятнистый черно-белый юноша внезапно затянул:

*Шпиц весь свет облаять рад,*

*Пудель тяпнет грубо.*

*Одному дан прочный зад,*

*А другому – зубы...*

**Хор**

*Ессе quam и т. д.*

Затем серый:

*Снял филистер свой колпак,*

*Вежливо кивая,*

*Смел и радостен простак –*

*Вывезет кривая!*

**Хор**

*Ессе quam и т. д.*

Затем рыжий:

*Рыба любит глубь реки,*

*Птица в небо рвется.*

*Крылья их и плавники*

*Кто добыть возьмется?*

**Хор**

*Ессе quam и т. д.*

Затем белый:

*Фыркай, злись, урчи, мяучь,*

*Только не царапай.*

*Вкрадчив будь, учтив, певуч,*

*Цапай тихой сапой!*

**Хор**

*Ессе quam и т. д.*

Затем друг Муций:

*Всё про нас макаки врут,*

*Знать, решили слопать.*

*Точат зубы, нос дерут...*

*Дудки, близок локоть!*

**Хор**

*Ессе quam и т. д.*

Я сидел подле Муция, и посему теперь наступил мой черед импровизировать. Все соло, до того пропетые, так сильно отличались от стихов, которые я слагал ранее, что я пришел в немалое беспокойство и страх, как бы не погрешить против тона и композиции столь целостного творения. Оттого, когда хор закончился, я еще безмолвствовал. Уже многие подняли стаканы и восклицали «Pro poena» [[7]](#footnote-6), но я, напрягши всю мощь своего духа, запел:

*Хвост к хвосту, к челу чело, –*

*Нас не троньте, крошки,*

*Мы филистерам назло*

*Забулдыги-кошки!*

**Хор**

*Ессе quam и т. д.*

Моя импровизация снискала долгие, несмолкаемые похвалы. Великодушные юноши, ликуя, ринулись ко мне и, заключив меня в свои лапы, прижимали к своей трепещущей груди. Итак, и здесь распознали во мне дивный гений! То была одна из прекраснейших минут моей жизни. Затем в честь многих великих, славных котов, преимущественно тех, коим, невзирая на их величие и славу, чуждо всякое филистерство, что доказали они и словом и делом, было провозглашено пламенное «ура!», после чего мы расстались.

Однако пунш изрядно-таки ударил мне в голову. Мне чудилось, будто крыши кружатся; я едва смог с помощью хвоста, употребленного мною в виде балансира, сохранять равновесие. Верный Муций, заметив мое состояние, подхватил меня и счастливо доставил через слуховое окно домой. От столь сильного головокружения, никогда мною доселе еще не испытанного, я еще долго не мог...

*(Мак. л.)* ...так же хорошо знал, как и остроумная госпожа Бенцон. Но что именно сегодня, сейчас я получу весть о тебе, верная душа, этого не предчувствовало мое сердце. – Так сказал маэстро Абрагам, узнав с радостным удивлением руку Крейслера на полученном письме, запер его, не распечатывая, в ящик письменного стола и отправился в парк.

Издавна маэстро Абрагам имел обыкновение несколько часов, а то и дней не распечатывать полученные письма. «Если письмо неинтересно, – говаривал он, – то промедление несущественно; если в нем дурная весть, я сберегу еще несколько веселых или по крайней мере беспечных часов, если же добрая, то человек рассудительный может и потерпеть, чтобы потом полнее насладиться радостью». Это обыкновение маэстро Абрагама следует осудить, ибо человек, у коего письма всегда залеживаются, совершенно непригоден ни к коммерции, ни к сочинению политических, равно как и литературных обозрений; из вышеизложенного явствует также, сколь много бедствий может проистечь отсюда для лиц, каковые не состоят ни коммерсантами, ни газетчиками. А что до настоящего биографа, то он совершенно не доверяет стоическому равнодушию маэстро Абрагама и приписывает это его обыкновение скорее сильной его робости перед тайной запечатанного письма. Ибо есть некое совсем особое удовольствие в получении писем, и оттого-то особенно приятны нам лица, ближайшим образом содействующие этому удовольствию, а именно почтальоны, как заметил уже где-то один остроумный писатель. Да, пожалуй, это можно было бы назвать очаровательным самообманом. Биограф припоминает, что, когда он, будучи в университете, долго и тщетно ожидал письма от некоей возлюбленной особы, что доставляло ему немалые муки, он со слезами на глазах попросил почтальона, чтобы тот постарался как можно скорее принести ему письмо из родного города, за что получит как следует на выпивку. Парень с хитрой миной пообещал исполнить просьбу и через несколько дней, когда письмо и в самом деле пришло, торжествуя, вручил его – будто и впрямь только от него зависело сдержать свое слово – и без зазрения совести взял деньги. Впрочем, биограф, должно быть, чересчур приверженный к самообману, не знает, испытываешь ли ты, любезный читатель, вскрывая полученное письмо, такое же чувство, как он, – при всей огромной радости, такой же странный страх, вызывающий сердцебиение, даже когда письмо навряд ли содержит что-нибудь важное для тебя? Быть может, здесь пробуждается то сжимающее сердце чувство, с каким мы глядим в ночь будущего. И как раз потому, что достаточно легкого нажатия пальца, чтобы сокровенное стало явным, единый этот миг и полон такого напряжения, такой неизъяснимой тревоги. Увы! Сколько прекрасных надежд разбила роковая печать, сколько дорогих грез, страстных, заветных желаний нашего сердца превратилось в ничто. Маленький листок почтовой бумаги стал как бы волшебным заклятием, иссушившим цветущий сад, где мечтали мы бродить, и жизнь предстала перед нами неприветливой, безотрадной пустыней. Но если не мешает собраться с духом, прежде чем вверить сокровенное легкому нажатию пальца, то можно простить и маэстро Абрагаму ранее осужденную нами привычку, привязавшуюся, впрочем, и к самому биографу с той роковой поры, когда каждое полученное им письмо напоминало ящик Пандоры, откуда, едва только он раскрывался, вылетали на свет тысячи бед и несчастий. Хотя маэстро Абрагам и теперь запер письмо капельмейстера в ящик своего пульта, или письменного стола, и отправился погулять в парк, благосклонный читатель все же немедля узнает дословно содержание письма. Иоганнес Крейслер писал:

«*Дорогой маэстро* !

«La fin couronne les &#339;uvres» [[8]](#footnote-7), – мог бы я воскликнуть, подобно лорду Клиффорду в шекспировском «Генрихе VI», когда весьма благородный герцог Иоркский нанес ему какой-то штукой смертельный удар. Ибо, свидетель бог, моя шляпа свалилась тяжелораненая в кусты, и я вслед за ней, навзничь, как тот, о ком говорят: он сражен, или – он пал в бою. Такие люди редко снова поднимаются, однако Ваш Иоганнес, дорогой маэстро, совершил это, и притом немедленно. О моем тяжелораненом товарище, павшем, правда, не бок о бок со мной, а полетевшем через мою голову или, скорей, с головы, я уже не мог позаботиться, так как был достаточно занят тем, чтобы изрядным скачком в сторону – я беру здесь слово «скачок» не в философском, а исключительно в гимнастическом смысле, – увернуться от дула пистолета, который некто случившийся поблизости, чуть ли не в трех шагах, направил прямо на меня. Но я совершил нечто большее: я неожиданно перешел от обороны к нападению, бросился на пистолянта и без дальнейших церемоний воткнул в него свою шпагу. Вы всегда упрекали меня, маэстро, в том, что я не силен в историческом жанре и не способен ничего рассказать без ненужных фраз и отступлений. Что ж Вы скажете теперь о весьма лаконичном рассказе про мое итальянское приключение в зигхартсгофском парке? Кстати, великодушный князь столь милостиво управляет им, что терпит там даже бандитов, – возможно, приятного разнообразия ради?

Примите все сказанное, дорогой маэстро, лишь как предварительный краткий указатель содержания исторической хроники, которую я, если не помешает мое нетерпение и господин приор, хочу написать для Вас вместо обычного письма. О самом приключении в лесу мне остается добавить немного. Когда грянул выстрел и просвистела пуля, я тотчас же понял, что сей гостинец предназначался мне, ибо, падая, ощутил жгучую боль в левой стороне головы, которую конректор в Генионесмюле справедливо называл упрямой. И в самом деле, мой доблестный череп упрямо воспротивился гнусному свинцу, так что след от раны едва заметен. Но сообщите мне, дорогой маэстро, сообщите мне сейчас же, или сегодня вечером, или по крайности утром, как можно раньше, в кого заехал я шпагой! Мне было бы очень приятно услышать, что я пролил не обыкновенную человеческую кровь, а хотя бы несколько капель принцева ихора, – во всяком случае, я надеюсь, что это так. Да, маэстро! Вот и привел меня случай к поступку, что предвещал мне зловещий дух у Вас в рыбачьей хижине! Неужто маленькая шпага в то мгновенье, когда я воспользовался ею для защиты против убийцы, превратилась в страшный меч Немезиды, карающей злодеяние? Напишите мне обо всем, маэстро, и прежде всего о том, что это за оружие Вы вложили мне в руки, то есть что это за маленький портрет? Но нет – нет, не сообщайте мне о нем ничего! Пусть этот лик Медузы, перед чьим взором оцепенел дерзкий преступник, остается для меня самого необъяснимой тайной. Мне сдается, будто этот талисман потеряет свою силу, как только я узнаю, какое созвездие превратило его в волшебное оружие. Поверите ли Вы мне, маэстро, я до сих пор даже не рассмотрел еще как следует Вашу маленькую картинку. Настанет пора, Вы расскажете мне о ней все, что мне нужно знать, и тогда я верну Вам талисман. Ни слова более о нем! Итак, продолжу историческую хронику.

Как только я проткнул шпагой вышеупомянутого некто, вышеупомянутого пистолянта, и он свалился без звука на землю, я бросился прочь с быстротой Аякса, ибо слышал в парке голоса и считал себя еще в опасности. Мое намерение было бежать в Зигхартсвейлер; однако в ночной темноте я сбился с дороги. Я мчался все быстрее и быстрее, еще надеясь найти путь; перелез через канаву, взбежал на крутой холм и наконец без чувств свалился в кустарник. Внезапно словно молния блеснула у меня перед глазами; я ощутил резкую боль в голове и очнулся от глубокого, обморочного сна. Рана сильно кровоточила; с помощью носового платка я перевязал ее, причем так искусно, что это сделало бы честь самому ловкому ротному хирургу на поле брани, и весело и радостно осмотрелся кругом. Неподалеку от меня возвышались могучие руины какого-то замка. Вы замечаете, маэстро, к немалому своему удивлению, я попал на Гейерштейн.

Боль в ране утихла, я чувствовал себя свежим и бодрым. Когда я выбрался из кустов, служивших мне спальней, солнце уже взошло и, как бы посылая свой радостный утренний привет, заливало поля и рощи яркими лучами. Птички пробудились в кустах и, щебеча, купались в прохладной утренней росе, потом вдруг взмывали ввысь. Глубоко подо мной, еще окутанный ночным туманом, лежал Зигхартсгоф; но вскоре пелена спала и в пламенеющем золоте показались деревья и кусты. Озеро парка напоминало ослепительно сияющее зеркало. Я отыскал рыбачью хижину – белую маленькую точку; даже мост мог я рассмотреть совершенно ясно. Вчерашний день обступил меня, но так, как если бы он был давно прошедшей порою, от которой мне ничего не осталось, кроме скорби воспоминаний о навеки потерянном, раздирающей мне сердце и в то же время наполняющей его сладостным блаженством. «Шутник, что, собственно, хочешь ты сказать этим? Что потерял ты навеки в этот давно прошедший вчерашний день?» – так, слышу я, восклицаете Вы, маэстро. Ах, маэстро! Вот я и вновь на одинокой вершине Гейерштейна, и я вновь простираю руки, как орлиные крылья, чтобы лететь туда, где царило сладостное очарование, где любовь, что живет вне времени и пространства, ибо она вечна, как мировой дух, открывалась мне в полных предвестия небесных звуках, в этой жажде жажд, в этом никогда не утолимом желании. Я уже знаю, перед самым моим носом усаживается голодный оппонент – дьявол его возьми! – и, аргументируя от земного хлеба насущного, спрашивает меня с издевкой, возможно ли, чтобы у звука были голубые глаза? Я представляю ему убедительное доказательство, что звук, собственно, есть луч, сияющий нам из царства света сквозь разорванное облачное покрывало. Но оппонент идет далее и спрашивает со злобным смешком: «А лоб, волосы, губы, руки и ноги – неужто все это тоже есть у самого простого, чистого звука?» О боже, я знаю, что хочет сказать бездельник: пока я еще glebae adscriptus [[9]](#footnote-8), как он и все остальные, пока мы все питаемся не только солнечными лучами и время от времени должны садиться на некий стул, а не только восседать на ученой кафедре, – вся эта вечная любовь и это никогда не утолимое желание, ничего не желающее, кроме себя самого, о чем умеет болтать всякий дурак... Маэстро, я не хотел бы видеть Вас на стороне голодного оппонента, это было бы мне весьма неприятно. И скажите сами, разве нашлась бы у Вас хоть одна разумная причина для этого? Выказывал ли я когда-нибудь наклонность к ребячливым выходкам? Разве, дожив до зрелых лет, не сумел я остаться непоколебимо рассудительным? Желал ли я когда-нибудь, как мой кузен Ромео, быть перчаткой, только для того чтобы целовать щеку Юлии? Верьте, маэстро, пусть люди говорят что им угодно, в голове я ничего не таю, кроме нот, а в душе и сердце – ничего, кроме звуков. Ибо, черт возьми, как иначе мог бы я сочинить такую чинную гармоничную церковную штуку, как та вечерняя месса, что лежит законченная вон там на пульте? Однако хроника опять забыта. Я продолжаю.

Вдали я услышал песню; все ближе и ближе раздавался сильный мужской голос. Вскоре я увидел монаха-бенедиктинца, который, спускаясь по узкой тропинке, пел латинский гимн. Неподалеку от меня он остановился, умолк и стал осматривать местность, сняв широкополую дорожную шляпу и вытирая платком пот со лба; затем он исчез в кустах. Мне пришла охота присоединиться к нему. Это был человек более чем упитанный, солнце жгло все сильнее и сильнее, и я подумал, что он, наверное, отыскивает укромное местечко для отдыха. Я не ошибся; войдя в кустарник, я увидел, что преподобный отец расположился на густо поросшем мохом камне. Другой камень повыше, рядом с первым, служил ему столом; он разостлал на нем белый платок, достал из дорожной сумки хлеб и жареную птицу и начал обрабатывать ее с большим аппетитом. «Sed praeter omnia bibendum quid» [[10]](#footnote-9), – обратился он к самому себе и, вытащив из кармана маленький серебряный кубок, налил в него вина из плетеной бутылки. Только было хотел он выпить, как я со словами «Хвала Иисусу Христу» подошел к нему. Держа кубок у рта, поднял он на меня глаза, и я мгновенно узнал в нем моего старого доброго друга из бенедиктинского аббатства в Канцгейме, достойного отца Гилария, регента хора. «Во веки веков», – забормотал отец Гиларий, уставившись на меня вытаращенными глазами. Я вспомнил тотчас же о моем головном уборе, вероятно придававшем мне странный вид, и начал:

– О мой дорогой и достойный друг Гиларий, не принимайте меня за беглого бродягу-индуса или за придурковатого селянина, ибо я не кто иной, как ваш приятель, капельмейстер Иоганнес Крейслер, и никем иным быть не желаю.

– Клянусь святым Бенедиктом, – воскликнул радостно отец Гиларий, – я сейчас же узнал вас, божественный композитор и превосходный друг! Но, per diem [[11]](#footnote-10), скажите мне, откуда вы? Что с вами случилось, с вами, кто, как я думал, in floribus [[12]](#footnote-11) при эрцгерцогском дворе?

Я без дальнейших околичностей рассказал вкратце отцу Гиларию обо всем, что со мной случилось и как я был вынужден воткнуть свою шпагу в кого-то, кому вздумалось упражняться на мне в стрельбе по мишени, и этот кто-то был, вероятно, один итальянский принц, звавшийся Гектором, как многие достойные охотничьи собаки. «Что же теперь предпринять? Вернуться в Зигхартсвейлер или... Посоветуйте мне, отец Гиларий!»

Так закончил я свой рассказ. Отец Гиларий, вставлявший иногда «гм! – так! – ага! – святой Бенедикт!», взглянул себе под ноги, пробормотал: «Bibamus» [[13]](#footnote-12) – и единым духом опорожнил серебряный кубок.

Потом он воскликнул, смеясь:

– Право, капельмейстер, лучший совет, который я для начала могу вам дать, это подсесть ко мне и позавтракать. Я рекомендую вам этих куропаток; их вчера подстрелил наш достопочтенный брат Макарий, который, как вы, должно быть, помните, нигде не дает промаху, кроме как в респонзориях, а когда вы отведаете соус, которым залиты эти птички, возблагодарите брата Эвзебия, самолично зажарившего их из любви ко мне. Что же касается до вина, то оно вполне достойно оросить глотку беглого капельмейстера. Добрый боксбейтель, carissime [[14]](#footnote-13) Иоганнес, добрый боксбейтель из приюта святого Иоанна в Вюрцбурге! Мы, недостойные слуги божьи, получаем вино лучшего качества. Ergo bibamus [[15]](#footnote-14).

С этими словами он налил кубок и протянул его мне. Я не заставил себя просить – пил и ел, как путник, нуждающийся в подкреплении.

Отец Гиларий выбрал превосходнейшее местечко для своего завтрака. Густая листва берез затеняла усеянную цветами поляну, а кристально чистый лесной ручей, плескавшийся по выступам скалы, еще более увеличивал освежительную прохладу. Уединенность этого потаенного уголка умиротворила меня и успокоила, и покуда отец Гиларий рассказывал обо всем, что случилось за это время в монастыре, не забывая ввернуть в рассказ свои обычные шутки и свою очаровательную кухонную латынь, я прислушивался к голосам леса и ручья, напевавшим мне утешительные мелодии.

Отец Гиларий, вероятно, приписал мое молчание тяжкой заботе, причиненной мне всем случившимся.

– Не робейте, капельмейстер! – снова начал он, протягивая мне наполненный кубок. – Вы пролили кровь – это верно, а пролитие крови – грех; но distinguendum est inter et inter [[16]](#footnote-15). Каждому его жизнь дороже всего, у каждого она одна. Вы защищали вашу, а этого, как вполне доказано, церковь вовсе не запрещает, и ни наш достопочтенный господин аббат, ни какой-нибудь другой служитель божий не откажут вам в отпущении грехов, даже если вы по недосмотру заехали в княжеские потроха. Ergo bibamus! Vir sapiens non te abhorrebit, domine! [[17]](#footnote-16) Но, дорогой Крейслер, если вы возвратитесь в Зигхартсвейлер, вас ехиднейшим манером допросят о cur, quomodo, quando, ubi [[18]](#footnote-17), а если вы обвините принца в нападении с целью убийства, поверят ли вам? Ibi jacet lepus in pipere [[19]](#footnote-18). Вот видите, капельмейстер, какой... но, bibendum quid [[20]](#footnote-19). – Он опорожнил до краев налитый кубок и продолжал: – Да, недурной совет подсказал мне боксбейтель! Так вот, я как раз направлялся в монастырь Всех святых, чтобы достать у тамошнего регента что-нибудь для близящегося праздника. Дважды, трижды перерыл я все свои ящики; все старо, приелось, а музыка, сочиненная вами, когда вы были в аббатстве, – да, она красива и свежа; однако не сочтите за обиду, капельмейстер, – она написана так странно, что никак нельзя отвести глаз от партитуры. Только покосишься через решетку на какую-нибудь пригожую девчонку внизу, сейчас же пропустишь паузу или что-нибудь еще, начинаешь неверно отбивать такт – и все летит вверх тормашками, – а брат Якоб колотит по органным клавишам бим-бим-бам-бам – ad patibulum cum illis [[21]](#footnote-20). Итак, я мог бы... но bibamus!

После того как мы оба выпили, поток его речи полился дальше:

– Desunt [[22]](#footnote-21), кого нет, а кого нет, нельзя спросить. Вот я и думаю, что вам нужно пропутешествовать со мной обратно в аббатство, которое, если идти по верной дороге, находится отсюда в двух часах ходьбы. Там вы будете безопасны от всякого преследования, contra hostium insidias [[23]](#footnote-22). Я приведу вас туда как музыку во плоти, и вы можете оставаться там сколько пожелаете или пока вы будете находить это удобным. Достопочтенный господин аббат позаботится обо всем необходимом для вас. Вы наденете самое тонкое белье и натянете на себя бенедиктинскую рясу, кстати, она будет вам очень к лицу. Но чтобы вы не походили в пути на раненого с картинки о милосердном самаритянине, напяльте на себя мою дорожную шляпу, я же покрою свою лысину капюшоном. Bibendum quid, дражайший!

С этими словами он снова опорожнил кубок, выполоскал его в ручье, быстро уложил все в свою дорожную сумку, нахлобучил мне на лоб свою шляпу и весело воскликнул:

– Капельмейстер, спешить нам надобности нет, и ежели мы побредем с вами вразвалочку, все же доберемся как раз, когда зазвонят «Ad conventum conventuales» [[24]](#footnote-23), то есть когда его преподобие садятся за стол.

Вы понимаете, дорогой маэстро, что я нимало не возражал против предложения веселого отца Гилария, напротив – мне пришлась очень по душе мысль отправиться в монастырь, который в некотором отношении мог стать для меня спасительным убежищем.

Мы шагали не торопясь, беседуя на всяческие темы, и прибыли в аббатство, как хотелось отцу Гиларию, когда звонили к трапезе. Дабы предупредить всевозможные расспросы, отец Гиларий сказал аббату, что, случайно узнав о моем пребывании в Зигхартсвейлере, он предпочел вместо нот из монастыря Всех святых прихватить по дороге самого композитора, у коего неисчерпаемый запас музыки всегда с собой.

Аббат Хризостом – помнится, я много рассказывал вам о нем – принял меня с той сердечной радостью, что свойственна лишь людям доброго нрава, и с похвалой отозвался о решении отца Гилария.

Теперь, маэстро Абрагам, представьте себе, как я, преображенный в заправского монаха-бенедиктинца, сижу в высокой, просторной комнате главного корпуса аббатства и усердно сочиняю вечерни и гимны и даже по временам делаю наброски к торжественной литургии, как вокруг меня собираются играющие и поющие братья и хор мальчиков, как усердно я репетирую с ними и как я дирижирую за решеткой хоров! В самом деле, я чувствую себя словно погребенным в этом уединении и мог бы сравнить себя с Тартини – из страха перед местью кардинала Корнаро итальянец удрал в миноритский монастырь в Ассизи, где только спустя много лет его обнаружил один падуанец, случившийся в церкви и узнавший на хорах потерянного друга, – порыв ветра на мгновенье приподнял завесу, скрывавшую оркестр. С Вами, маэстро, могло бы произойти то же, что с тем падуанцем; но я все-таки обязан был Вам сообщить, где я; иначе Вы придумали бы бог весть что. Наверное, мою шляпу нашли и недоумевали – где же голова?

Маэстро! Особенный, благодетельный покой сошел в мою душу – быть может, здесь мне и суждено наконец бросить якорь? Когда я на днях опять гулял возле маленького озера в обширном саду аббатства и увидел в воде свое отражение, странствующее рядом со мной, я сказал себе: «Человек, что бредет там внизу, это человек спокойный, рассудительный, он уже не мятется в туманных и безграничных просторах, он крепко держится найденной дороги, и счастье для меня, что человек этот не кто иной, как я сам». Из другого озера однажды на меня посмотрел зловещий двойник. Но тише, тише об этом! Маэстро, не называйте мне никого, не рассказывайте мне ни о чем, даже о том, кого я проткнул! Но о себе пишите побольше! Братья пришли на репетицию, и я заключаю мою историческую хронику, а вместе и письмо. Прощайте, мой дорогой маэстро, и вспоминайте обо мне, и проч. и проч.».

Прогуливаясь в одиночестве по дальним запущенным дорожкам парка, маэстро Абрагам размышлял о судьбе своего любимого друга, о том, что он, едва только обрел его, потерял снова. Он видел мальчика Иоганнеса и себя самого в Генионесмюле перед фортепьяно старого дяди; малыш почти с мужской силой гордо отбарабанивал труднейшие сонаты Себастьяна Баха, а он, Абрагам, за это украдкой совал ему в карман пакетик со сластями. Ему казалось, что это было всего несколько дней тому назад; и он удивлялся, что мальчик был не кто иной, как Крейслер, теперь впутанный в удивительную, причудливую игру таинственных обстоятельств. Вместе с мыслями о том прошедшем времени, о роковом настоящем, перед маэстро встала картина его собственной жизни.

Отец его, строгий, крутой человек, почти силой приставил его к ремеслу органщика, которое казалось Абрагаму простым и грубым. Отец не терпел, чтобы кто-нибудь другой, кроме органного мастера, брался за постройку органа, и поэтому, прежде чем допустить своих учеников к изготовлению внутреннего механизма, он делал из них искусных столяров, литейщиков и т. д. Точность и долговечность органа, удобство игры на нем для старика были всем; в душе, в звуке он ничего не смыслил, и это удивительно сказывалось на построенных им органах, справедливо порицаемых за жесткость и резкость звука. Помимо того, старик весь был во власти ребяческих затей давних времен. Так, к одному своему органу он приделал царей Давида и Соломона, покачивавших во время игры головой как бы от удивления; каждый его инструмент был украшен бьющими в литавры, трубящими, отбивающими такт ангелами, петухами, которые кукарекали и хлопали крыльями и т. п. Мальчик Абрагам, выдумав какой-нибудь фокус для нового органа, какое-нибудь пронзительное «кукареку», приводил отца в восторг и только так избегал заслуженных или незаслуженных колотушек. С робкой и страстной тоской призывал Абрагам срок, когда он, по обычаю ремесленников, отправится странствовать. Наконец пора эта наступила, и Абрагам оставил отчий дом, чтобы никогда туда не возвращаться.

Во время путешествия, совершенного в обществе нескольких подмастерьев, большей частью разгульных грубых парней, он забрел однажды в аббатство Св. Власия, расположенное в Шварцвальде, и услышал там знаменитый орган старого Иоганна-Андреаса Зильбермана. Вместе с глубокими и дивными звуками этого инструмента впервые в его душу проникло волшебство гармонии; он почувствовал себя перенесенным в другой мир, и с этого мгновения им завладела любовь к искусству, которым прежде он занимался с таким отвращением. Теперь его среда, да и жизнь, какую он вел до сих пор, представились ему столь недостойными, что он напряг все силы, стараясь вырваться из затягивавшего его болота. Природный ум, понятливость позволили Абрагаму сделать гигантские шаги в научном образовании, и все же часто ощущал он свинцовые гири прежнего воспитания и пошлого времяпрепровождения. Кьяра – союз с этим странным, таинственным существом был вторым мигом озарения в его жизни, и оба эти мгновения: пробуждение чувства гармонии и любовь Кьяры, образовали некий дуализм его поэтического бытия, благодетельно подействовавший на его грубую, но сильную натуру. Едва он покинул постоялые дворы, кабаки, где в густом табачном чаду раздавались непристойные песни, случай или, вернее, его искусство делать механические игрушки, которым он умел сообщать видимость таинственного, о чем уже известно благосклонному читателю, перенесли его в совершенно неведомую обстановку, где он, оставаясь вечным чужаком, удержался лишь потому, что сохранил свойственное ему упорство. Это упорство все крепло, и так как оно было не упорством простака, а основывалось на ясном, здравом человеческом разуме, правильных взглядах на жизнь и порожденной ими меткой насмешке, то, естественно, и произошло, что там, где юношу едва терпели, мужчина внушал почтение как носитель слишком опасного начала. Нет ничего легче, как импонировать знатному обществу, которое всегда гораздо ниже того, чем его считают. Как раз об этом и подумал маэстро Абрагам в ту минуту, когда он возвратился с прогулки в рыбачью хижину и от души разразился громким смехом, облегчившим его стесненную грудь.

Глубочайшую скорбь, прежде вовсе чуждую маэстро, вызвало у него живое воспоминание о том мгновенье в церкви аббатства Св. Власия и об утраченной Кьяре. «Зачем теперь вновь так часто идет кровь из раны, которую я считал зажившей? – обратился он к себе самому. – Зачем предаюсь я пустым мечтаниям, когда, кажется, мне нужно бы деятельно вмешаться в работу механизма, неправильно заведенного, вероятно, каким-то злым духом?» При мысли, что его своеобычному образу жизни и занятиям угрожает опасность – откуда, он сам не знал, – маэстро охватил страх, пока ход размышлений не привел его, как было сказано, к знатному обществу, его развеселившему, – и тотчас же он почувствовал заметное облегчение; вот он уже вошел в рыбачью хижину, чтобы наконец прочесть письмо Крейслера.

В княжеском дворце между тем происходило нечто достопримечательное.

Лейб-медик сказал:

– Удивительно! Это выходит за границы всякого опыта, всякой практики.

Княгиня:

– Так и должно было произойти, и принцесса не скомпрометирована.

Князь:

– Разве я не запретил этого категорически? Но у этого crapule [[25]](#footnote-24), у этих прислуживающих ослов нет ушей. Ну, обер-егерь должен позаботиться о том, чтобы принцу больше не попал в руки порох.

Советница Бенцон:

– Слава богу, она спасена!

В это время принцесса Гедвига глядела в окошко своей спальни, изредка беря аккорды на гитаре, которую Крейслер в дурном настроении отшвырнул прочь и потом вновь получил от Юлии освященной, как он говорил. На софе сидел принц Игнатий, плакал и жаловался: «Больно, больно!», а возле него – Юлия, прилежно чистившая картофель в маленькую серебряную миску.

Все это относилось к событию, которое лейб-медик с полным правом назвал удивительным и выходящим за границы всякой практики. Принц Игнатий, как не раз уже замечал благосклонный читатель, сохранил игривую невинность ума и счастливую непосредственность шестилетнего мальчика. Среди его игрушек была маленькая, отлитая из металла пушка, служившая ему для его любимой игры, которой, однако, он очень редко мог увеселяться, так как для нее нужны были некоторые припасы, не всегда бывшие под рукой, а именно несколько крупинок пороху, крупная дробинка и птичка. Когда принцу случалось достать все это, он выстраивал свои войска, производил военный суд над птичкой, затеявшей мятеж в утраченных владениях папы-князя, заряжал пушку и расстреливал птичку, предварительно намалевав ей черное сердце на грудке и привязав к подсвечнику. Иногда это ему не удавалось, и тогда он завершал справедливую казнь государственного изменника с помощью перочинного ножа.

Фриц, десятилетний сын садовника, поймал для принца очень красивую, пеструю коноплянку и за это, как всегда, получил крону. Вслед за этим принц немедленно прокрался в егерскую – егерей там не было, – отыскал мешочек дроби и рог с порохом и сделал необходимые припасы. Он уже собирался приступить к экзекуции, которую следовало ускорить, так как пестрый щебечущий мятежник пытался ускользнуть, – как вдруг ему пришло в голову, что принцесса Гедвига, ставшая ведь теперь такой послушной, разумеется, не откажется от удовольствия присутствовать при казни маленького изменника. Он взял под мышку ящик, где находилась его армия, под другую – пушку, зажал птичку в кулак и тихо-тихо, так как князь запретил ему видаться с принцессой, прокрался в спальню Гедвиги. Принцесса лежала на постели все в том же каталептическом состоянии. Камеристок возле нее как раз не оказалось; это было плохо и вместе с тем хорошо, как мы сейчас увидим.

Не медля, принц привязал птицу к подсвечнику, построил армию в ряды и зарядил пушку; затем он поднял принцессу с постели, заставил ее подойти к столу и объяснил, что сейчас она изображает генерала, командующего войсками; он же останется владетельным князем и, кроме того, зажжет фитили у артиллерии и уничтожит мятежника. Избыток припасов погубил принца; он не только набил чересчур много пороху в пушку, но и рассыпал его вокруг по столу. Едва он поднес фитиль, как раздался необыкновенный взрыв, а рассыпанный вокруг порох загорелся и порядочно обжег ему руку. Принц громко вскрикнул и даже не заметил, что принцесса в момент взрыва упала на пол. Выстрел прогремел по всему коридору, все ринулись на шум, предчувствуя недоброе; даже князь и княгиня, позабыв от страха об этикете, вместе со слугами бросились к дверям. Камеристки подняли принцессу с пола и положили ее на постель; тем временем послали за хирургом, за лейб-медиком. Взглянув на стол, князь тотчас же увидел, что случилось, и с гневно сверкающими глазами обратился к принцу, который отчаянно вопил и стонал:

– Видишь, Игнатий, к чему приводят твои глупые, детские забавы! Вели помазать руку мазью от ожогов и не вой, как уличный мальчишка! Розгой бы по зад... – Губы князя тряслись, речь стала невнятной, понять его было невозможно, и он величественно покинул комнату. Глубокий ужас охватил слуг; ибо всего в третий раз князь обращался к принцу по имени и на «ты» и каждый раз это означало дикий, еле подавляемый гнев.

Когда лейб-медик объяснил, что кризис уже наступил и что, как он надеется, опасное состояние принцессы скоро пройдет и она совершенно выздоровеет, княгиня промолвила с меньшим волнением, чем можно было бы ожидать:

– Dieu soit lou&#233;! [[26]](#footnote-25) Пусть меня извещают о дальнейшем! – Но плачущего принца она обняла очень нежно, утешила его ласковыми словами и последовала за князем.

В это время в замке появилась Бенцон, собравшаяся вместе с Юлией навестить несчастную Гедвигу. Едва услышала она, что случилось, как тотчас же бросилась в покой принцессы, подлетела к ее постели, упала на колени, схватила руку Гедвиги и пристально заглянула ей в глаза; а Юлия горько рыдала, воображая, что вскоре ее подруга заснет вечным сном. Но вдруг Гедвига глубоко вздохнула и сказала глухим, еле слышным голосом:

– Он мертв?

Тотчас же принц Игнатий перестал плакать, хоть боль и не утихла, и вне себя от радости, что экзекуция удалась, ответил, смеясь и хихикая:

– Да, да, сестра-принцесса, он мертв, выстрел попал ему в самое сердце!

– Да, – продолжала принцесса, снова закрыв раскрывшиеся было глаза, – да, я знаю это. Я видела каплю крови, она выкатилась из самого сердца, но тут же упала в мою грудь – и я превратилась в кристалл, и только эта капля жила в моем трупе!

– Гедвига, – начала советница тихо и мягко, – очнитесь от дурных, зловещих грез! Гедвига, узнаете ли вы меня? – Принцесса слабо махнула рукой, как бы желая, чтобы ее оставили. – Гедвига, – продолжала Бенцон, – Юлия здесь.

Улыбка пробежала по лицу принцессы. Юлия наклонилась над ней и тихо поцеловала побледневшие губы подруги. Тогда Гедвига прошептала еле слышно:

– Все прошло. Еще несколько минут, и я соберусь с силами.

Никто до сих пор не вспомнил о маленьком государственном изменнике, лежавшем на столе с раздробленной грудью. Только теперь он попался Юлии на глаза, и она лишь в это мгновение поняла, что принц Игнатий снова играл в свою отвратительную, ненавистную ей игру.

– Принц, – сказала она, и щеки ее запылали. – Принц, что сделала вам эта бедная птичка? За что вы так безжалостно умертвили ее? Это очень глупая, ужасная игра. Вы давно обещали мне бросить ее и все-таки не сдержали слова. Если вы сделаете это еще раз – я никогда больше не буду выстраивать ваши чашки или учить ваших кукол говорить и не расскажу вам истории о морском царе!

– Не сердитесь, фрейлейн Юлия, – захныкал принц, – не сердитесь. Ведь эта пестрая бестия исподтишка отрезала полы на мундирах всех солдат и сверх того затеяла мятеж. Ой, больно, больно!

Бенцон посмотрела на принца, потом на Юлию со странной усмешкой и воскликнула:

– Так вопить из-за пустячного ожога! Но в самом деле, этот хирург вечно запаздывает со своими мазями. Однако есть простое домашнее средство, помогающее и непростым людям. Пусть принесут сырого картофеля! – Советница направилась к двери, но вдруг, словно охваченная какой-то внезапной мыслью, остановилась, вернулась обратно, обняла Юлию, поцеловала ее в лоб и сказала: – Ты мое милое доброе дитя и никогда не обманешь моих надежд. Берегись лишь эксцентрических, сумасшедших глупцов и охраняй свою душу от злых чар их соблазнительных речей! – С этими словами она бросила испытующий взгляд на принцессу, казалось, мирно и сладко дремавшую, и вышла.

Тут вошел хирург с необъятным пластырем в руках, повторяя бесконечные уверения, что он уже с давних пор ожидает всемилостивейшего принца в его комнате, так как он не осмеливался предположить, что в спальне всемилостивейшей принцессы... Он собрался было налепить пластырь на принца, но камеристка, принесшая несколько крупных картофелин в серебряной миске, заступила ему дорогу и стала уверять его, что тертый картофель – лучшее средство против ожогов.

– И я, – перебила Юлия камеристку, беря у нее миску с картофелем, – я сама хочу сделать из него для вас, мой принцик, самый деликатный пластырь.

– Боже милостивый! – воскликнул перепуганный хирург. – Остановитесь! Разве мыслимо употреблять домашнее средство для обожженных пальцев высокой княжеской особы! Искусство – только одно искусство может и обязано тут помочь! – Он снова приступил к принцу, но тот отскочил назад, воскликнув:

– Прочь отсюда, прочь! Пусть пластырь для меня сделает фрейлейн Юлия, а искусство убирается вон из комнаты!

Искусство откланялось и, бросив ядовитый взгляд на камеристку, исчезло вместе со своим искусно приготовленным пластырем.

Юлия заметила, как принцесса Гедвига стала дышать все сильнее и сильнее; но как же удивилась она, когда...

*(М. пр.)* ...заснуть. Я ворочался на моем ложе во все стороны; я перепробовал всевозможные положения. То вытягивался я во всю длину; то сворачивался в клубок, приклонив голову на подушечки моих лап, изящно обвив себя хвостом, так что он закрывал мне глаза; то бросался на бок, вытянув лапы неподвижно вдоль тела и свесив с ложа свой хвост в безжизненном равнодушии. Все, все было тщетно! Все бессвязнее становились мои мысли, смутней – представления, пока наконец я не впал в то лихорадочное состояние, что надлежит именовать не сном, а поединком между сном и бодрствованием, как утверждают по праву Мориц, Давидсон, Нудов, Тидеман, Винхольт, Райль, Шуберт, Клуге и все иные физиологические авторы, кои писали о сне и сновидениях и коих я не читал.

Яркое солнце уже светило в комнату хозяина, когда я очнулся от этого бреда, от этой схватки меж сном и бодрствованием, и обрел полное сознание. Но что это было за сознание, что за пробуждение! О юноша кот, ты, который впиваешь эти строки, навостри уши и будь внимателен, дабы мораль не ускользнула от тебя! Восчувствуй, что я говорю тебе о состоянии, невыразимую безутешность коего я могу живописать тебе лишь слабыми красками! Восчувствуй это состояние, повторяю я тебе, и соразмерь, по возможности, свои силы, когда тебе случится в первый раз наслаждаться кошачьим пуншем в компании котов-буршей. Пей понемногу и соблюдая меру, а если кто воспротивится этому, сошлись на меня и на мой опыт. Тому порукой авторитет самого кота Мурра, который, надеюсь, признает и оценит каждый!

Итак! Что до моего физического самочувствия, то я ощущал не только изнеможение и бессилие, но и совсем по-особому терзавшие меня дерзостные, непомерные притязания желудка, не достигавшие цели именно по причине своей непомерности и порождавшие только бесполезное бурчанье в моих внутренностях, в коем участвовали даже мои потрясенные нервы, болезненно трепетавшие и содрогавшиеся от непрестанного желания и бессилия моих потуг. То было гнуснейшее состояние!

Но душевная подавленность едва ли не была еще чувствительнее. Вместе с горестным раскаянием и сокрушением по поводу вчерашнего дня, который я, собственно, не мог счесть достойным порицания, в мою душу сошло безнадежное равнодушие ко всему земному. Я презирал все блага земли, все дары Природы, самое Мудрость, Разум, Остроумие и т. д. Величайших философов, даровитейших поэтов почитал я теперь тряпичными куклами, так называемыми дергунчиками, и – что было пагубнее всего – это презрение перешло и на меня самого, и мне сдавалось, что я – всего-навсего обыкновенный, жалкий крысолов! Нет ничего более гнетущего! Мысль, что меня постигло величайшее несчастье, что вся твердь земная есть юдоль скорби, повергла меня в неизъяснимую муку. Я зажмурил глаза и заплакал навзрыд.

– Ты кутил, Мурр, и теперь у тебя кошки на душе скребут? Да, так оно и бывает! Ну, выспись хорошенько, старина. Потом станет лучше. – Так обратился ко мне хозяин, когда я оставил завтрак нетронутым и испустил несколько горестных вздохов.

О боже! Хозяин не знал, не мог знать моих страданий, он не подозревал, как компания буршей и кошачий пунш воздействуют на нежную, чувствительную душу!

Вероятно, был уже полдень; я еще не покидал своего ложа, и вдруг – только небу ведомо, как удалось ему пробраться, – брат Муций предстал передо мной. Я пожаловался ему на мое злосчастное состояние. Но, вместо того чтобы, как я надеялся, пожалеть меня и утешить, он разразился непристойно громким смехом и воскликнул:

– Ха-ха! Брат Мурр, ведь это кризис, и ничего более, переход от недостойного, филистерского отрочества к достойному буршеству, а ты вообразил, будто ты болен и несчастен. Ты еще не привык к благородным студенческим пирушкам. Но сделай мне удовольствие и не жалуйся по крайней мере хозяину на свои страдания. И так уж наше племя опорочено из-за этой мнимой болезни и злоречивый род людской дал ей имя, указывающее на нас; мне неохота его повторять. Но поднимайся скорее, соберись с силами, – идем со мной. Свежий воздух пойдет тебе на пользу, и потом – прежде всего тебе надо опохмелиться. Идем же! Ты узнаешь на деле, что это значит.

С тех пор как брат Муций вызволил меня из филистерства, он приобрел неограниченную власть надо мной; я делал все, что он хотел. Поэтому с невероятными усилиями восстал я с моего ложа, потянулся, сколько это было возможно при моих изможденных членах, и последовал за верным братом на крышу. Мы прошлись несколько раз туда и назад, и в самом деле, на душе у меня стало немного лучше, светлее. Потом брат Муций повел меня за трубу, и здесь, как я ни противился этому, мне пришлось пропустить несколько глотков чистого селедочного рассолу. Это и значило, как он мне тут же пояснил, опохмелиться.

О! Чудом из чудес было поразительное воздействие этого средства! Что сказать мне? Непомерные притязания желудка умолкли; бурчанье утихло, нервная система успокоилась; жизнь была вновь прекрасна. Я вновь ценил земные блага, Науку, Мудрость, Разум, Остроумие и т. д.; я был возвращен самому себе. Я вновь был дивный, несравненнейший кот Мурр.

О Природа, Природа! Возможно ль, чтобы несколько капель, поглощенных легкомысленным котом в неукротимом, свободном порыве, могли произвести мятеж против тебя, против благодетельного убеждения, взлелеянного тобою с материнской любовью в его груди, что этот мир с его благами, жареной рыбой, куриными косточками, молочной кашей и проч. и проч. есть самый совершенный из всех миров и что Кот – есть самое совершенное в этом мире, ибо блага эти сотворены лишь для него и ради него? Но философски мыслящий кот познает эту истину; в ней глубокая мудрость – то безутешное, ужасное состояние есть лишь некий противовес, производящий нейтрализующее действие, необходимое для дальнейшего существования в условиях бытия, – и, следственно, оно (то есть состояние) основано на вечных предначертаниях Вселенной. Опохмеляйтесь, коты-юноши, и утешьтесь этим философским выводом из опыта вашего ученого и проницательного товарища по несчастью!

Довольно сказать, что некоторое время я вел бодрую, веселую жизнь бурша на всех соседних крышах в компании с Муцием и другими честнейшими, испытанными, веселыми юношами, белыми, рыжими и пестрыми. Я перехожу к более важному событию в моей жизни, возымевшему некоторые последствия.

Однажды, когда ночью при ярком лунном сиянии я направлялся с братом Муцием на попойку, устроенную буршами, мне повстречался черно-серо-рыжий предатель, похитивший у меня мою Мисмис. Возможно, что, увидев ненавистного соперника, которому мне пришлось, к стыду моему, поддаться, я несколько смутился. Он же прошел мимо, чуть не задев меня, не поздоровавшись, и мне показалось, будто он язвительно усмехнулся в сознании завоеванного им превосходства надо мной. Я вспомнил об утраченной Мисмис, о полученных побоях, и кровь закипела у меня в жилах. Муций заметил мое волнение, и когда я сообщил ему о том, что мне почудилось, он сказал:

– Ты прав, брат Мурр. Этот молодчик скорчил такую кривую рожу, он вел себя так дерзко, разумеется, он хотел тебя оскорбить. Ладно, мы скоро узнаем это. Если я не ошибаюсь, пестрый филистер затеял здесь поблизости новую интрижку; каждый вечер он пробирается на эту крышу. Подождем немного. Наверное, мосье скоро вернется, и тогда все разъяснится.

Действительно, вскоре Пестрый надменно возвратился и уже издали смерил меня презрительным взглядом. Я отважно и дерзко направился ему навстречу; мы прошли так близко друг от друга, что наши хвосты несколько неделикатно коснулись один другого. Тотчас же я остановился, обернулся и сказал твердым голосом:

– Мяу!

Он тоже остановился, обернулся и надменно ответил:

– Мяу!

И каждый пошел своей дорогой.

– Он тебя оскорбил! – воскликнул Муций в сильном гневе. – Завтра же я потребую к ответу этого надменного пестрого молодчика!

На следующее утро Муций отправился к Пестрому и спросил его от моего имени, задел ли он мой хвост. Тот велел мне ответить: «Да, он задел мой хвост». Я на это: «Если он задел мой хвост, то я должен считать, что он оскорбил меня». Он на это: «Я могу считать это чем угодно». Я на это: «Я считаю, что он меня оскорбил». Он на это: «Я не в состоянии судить, что такое оскорбление». На это я: «Я знаю это очень хорошо и лучше его». Он на это: «Я не та личность, чтобы он стал меня оскорблять». Я на это снова: «Я считаю, что он меня оскорбил». Он на это: «Я безмозглый малый». На это я, дабы верх был за мной: «Если я безмозглый малый, то он – презренный шпиц». Тут же последовал вызов.

###### Примечание издателя на полях

О Мурр, о кот мой! Или правила чести не изменились со времен Шекспира, или я ловлю тебя на литературной лжи, то есть на лжи, нужной тебе для того, чтобы разукрасить происшествие, о котором ты рассказываешь. Разве рассказ о вызове на дуэль пестрого любителя поживиться за чужой счет не есть чистейшая пародия на семикратно отвергнутую ложь Оселка в «Как вам это понравится»? Разве не нахожу я в описании твоей так называемой дуэли все ступени перехода от учтивого возражения, тонкой насмешки, прямого выпада, смелого отпора до дерзкой контратаки, и может ли хоть как-нибудь спасти тебя то, что ты заканчиваешь откровенной бранью вместо откровенной лжи? Мурр, кот мой! Рецензенты обрушатся на тебя; но по крайней мере ты доказал, что читал Шекспира с пониманием и пользой, а это оправдывает многое.

Признаю по чести, я ощутил некоторую дрожь в теле, когда получил вызов, где говорилось о дуэли на когтях. Я вспомнил, как изувечил меня пестрый предатель, когда я, побуждаемый яростью и местью, напал на него; и я пожалел, что с помощью Муция одержал верх в споре. Муций, верно, увидел, что при чтении кровожадной записки я побледнел, и вообще заметил мое душевное состояние.

– Брат Мурр, – сказал он, – сдается мне, что эта первая дуэль, которую тебе надобно выдержать, вызывает в тебе некоторую дрожь.

Нимало не медля, я открыл другу всю свою душу и сказал ему, что поколебало мое мужество.

– О брат мой! – воскликнул Муций. – О дорогой брат мой Мурр! Ты забываешь, что, когда этот драчливый негодяй так гнусно тебя исколотил, ты был зеленый новичок, не то что ныне – славный бурш. Да и твою борьбу с Пестрым нельзя назвать ни настоящей дуэлью по всем правилам, ни просто поединком, это была только филистерская потасовка, не приличествующая коту-буршу. Заметь себе, брат Мурр, что люди, завидующие нашим особым дарованиям, упрекают нас в страсти к бесчестным потасовкам, и когда нечто подобное случится у них, они с издевкой именуют это «кошачьей дракой». Уже поэтому порядочный кот, кот добрых правил и с честью в душе, должен уклоняться от подобных стычек и тем самым устыдить людей, очень склонных при удобном случае давать и получать колотушки. Итак, дорогой брат, прочь всякий страх и робость! Сохрани мужество в твоем сердце и верь, что в настоящей дуэли ты как следует отомстишь пестрому франту за все испытанные обиды и так отделаешь его, что он надолго забудет о своих любовных интрижках и своей вздорной спеси. Но постой! Мне начинает казаться, что, после всего случившегося между вами, единоборства на когтях совершенно недостаточно, вам надо биться до конца, то есть на клыках. Нам следует выслушать мнение буршей.

Муций доложил собранию буршей о случае, происшедшем между мною и Пестрым. Доклад был так превосходно аргументирован, что все тут же согласились с оратором, и я попросил своего друга передать спесивому обидчику, что хотя я и принимаю вызов, однако тяжесть нанесенного оскорбления позволяет мне драться только на клыках. Пестрый принялся было возражать, ссылаясь на свои тупые зубы и т. д., но когда Муций со свойственной ему твердостью и серьезностью заявил, что в данном случае речь может идти только о поединке с решительным исходом, то есть на клыках, и что, если он, Пестрый, не пойдет на это, ему придется проглотить «презренного шпица», – дуэль на клыках была делом решенным.

Наступила ночь, когда должно было произойти единоборство. В назначенный час я прибыл с Муцием на крышу дома, стоявшего на границе околотка. Вскоре явился и мой противник в сопровождении статного кота, который был, пожалуй, еще пестрее и глядел еще надменнее и наглее того. Как мы и предположили, это оказался его секундант; они были товарищами по разным походам, проделанным ими вместе, и оба участвовали в покоренье амбара, за что Пестрый получил орден Поджаренного сала. Кроме того, тут же находилась – заботами предусмотрительного и осторожного Муция, как я потом узнал, – маленькая светло-серая кошка, необыкновенно сведущая в хирургии; она умела лечить самые тяжелые и опасные раны и вылечивала их в короткий срок. Было условлено, что поединок состоится в три прыжка, а если и при третьем прыжке не будет решающего исхода, тогда обсудят, продолжать ли дуэль новыми прыжками или считать дело поконченным. Секунданты отмерили шаги, и мы стали в позицию друг против друга. Как велит обычай, секунданты подняли отчаянный крик, и мы бросились один на другого.

Только я собирался схватить моего противника, как он поймал мое правое ухо и так укусил его, что я невольно громко закричал. «Разойдитесь!» – воскликнул Муций. Пестрый отпустил меня; мы снова встали в позицию.

Новый вопль секундантов – второй прыжок. Теперь я надеялся ловчей схватить моего противника; но предатель увернулся и так укусил меня в левую лапу, что кровь брызнула струей. «Разойдитесь!» – снова воскликнул Муций.

«Собственно, дело покончено, – сказал секундант моего противника, оборачиваясь ко мне, – ибо вы, милейший, из-за сильной раны в лапе очутились «hors de combat» [[27]](#footnote-26). Но от гнева и неистовой злобы я вовсе не чувствовал боли и возразил, что третий прыжок покажет, остались ли еще во мне силы и можно ли считать дело поконченным. «Ладно, – сказал секундант, язвительно усмехаясь, – если вы непременно хотите пасть от лапы превосходящего вас противника, пусть будет по-вашему». Но Муций хлопнул меня по плечу и воскликнул: «Браво, браво, брат мой Мурр! Истый бурш презирает такие царапины. Держись смелее!»

В третий раз вопль секундантов – третий прыжок. Как ни был я разъярен, я заметил хитрость моего противника, всегда прыгавшего немного в сторону, оттого-то я и промахивался, а ему всякий раз удавалось схватить меня. Сообразив это, на сей раз я тоже прыгнул в сторону, и пока он собирался меня схватить, я успел укусить его в шею, да так, что он не мог даже крикнуть и только застонал. «Разойдитесь!» – воскликнул теперь секундант моего противника. Я тотчас отпрыгнул, а Пестрый упал без сознания, и кровь потоком хлынула из глубокой раны. Светло-серая кошка сейчас же поспешила к нему и, чтобы хоть как-нибудь унять кровь до перевязки, пустила в ход одно домашнее средство, которое, как уверял Муций, всегда было в ее распоряжении, так как она постоянно носила его при себе. Она тотчас влила в рану некую жидкость и тут же окропила ею лежавшего с ног до головы; судя по острому, едкому запаху, эта жидкость действовала сильно и живительно. Однако ни на одеколон, ни на примочки Тедена она не походила.

Муций пламенно прижал меня к своей груди и сказал:

– Брат Мурр, ты отстоял свою честь, как и приличествует коту, у которого сердце не напрасно бьется и груди! Мурр, ты возвеличишься, ты станешь украшением буршества; ты не потерпишь порока, ты будешь всегда первый, когда понадобится поддержать нашу славу.

Секундант моего противника, помогавший тем временем светло-серому хирургу, надменно подошел к нам, утверждая, будто я при третьем прыжке бился не по правилам. Но брат Муций стал в позицию и, сверкая глазами и выпустив когти, заявил, что всякий, утверждающий это, будет иметь дело с ним и что все будет вмиг покончено тут же на месте. Секундант счел благоразумным не возражать более, молча взвалил на спину раненого друга, который уже немного пришел в себя, и удалился вместе с ним через слуховое окно. Пепельно-серый хирург спросила, не нуждаюсь ли и я в ее домашнем средстве. Но я отказался, хотя лапа и уши у меня сильно болели, и припустился домой в упоенье от одержанной победы и удовлетворенной жажды мести за похищенную Мисмис и полученные побои.

Для тебя, о юноша кот, для тебя столь обстоятельно поведал я историю моего первого поединка на поле чести. Помимо того что сия достопримечательная история посвятит тебя во все тонкости кодекса чести, ты можешь почерпнуть из нее также и полезную в жизни мораль. А именно: отвага и мужество – ничто против уловок, и посему доскональное их штудирование необходимо, дабы не быть поверженным на землю, но прочно держаться на ней. «Chi non se ajuta, se nega» [[28]](#footnote-27), – говорит Бригелла в «Счастливых нищих» Гоцци, и сей муж прав, доподлинно прав. Намотай это себе на ус, юноша кот, и нимало не гнушайся уловками, ибо в них, как в недрах изобильных, сокрыта истинная житейская мудрость.

Когда я спустился вниз, я нашел дверь уже закрытой, и поэтому мне пришлось удовольствоваться для ночного ложа соломенной циновкой, лежавшей у порога. Должно быть, я потерял много крови, и со мной приключилось нечто вроде обморока. Внезапно я ощутил, что меня осторожно уносят. Это был мой добрый хозяин, который, услышав меня за дверью – сам того не замечая, я, наверное, слегка взвизгивал, – открыл ее и заметил мои раны.

– Бедный Мурр, – воскликнул он, – что с тобой сделали? Однако тебя изрядно покусали! Но я надеюсь, ты не остался в долгу у твоего противника!

«О, если бы ты знал!» – подумал я. И от мысли о полной победе, о славе, коей я покрыл себя, я почувствовал себя снова на седьмом небе. Добрый хозяин положил меня на мое ложе, вытащил из шкафа жестяную коробочку с мазью, приготовил два пластыря и наложил их мне на ухо и на лапу. Спокойно и терпеливо я позволял ему проделывать все это, испустив лишь легкое, тихое «мррр!», когда первая перевязка сделала мне немного больно.

– Ты, Мурр, умный кот, – сказал хозяин. – Ты не отвергаешь, как другие ворчащие сорванцы из твоего рода, желанья твоего хозяина помочь тебе. Только веди себя спокойно, а придет время зализывать рану на лапе, тогда ты сам снимешь повязку. Ну а что до разорванного уха – тут уж ничего не поделаешь, бедняга, придется тебе терпеть пластырь.

Я обещал это и в знак моего удовольствия и благодарности за помощь протянул хозяину здоровую лапу; он, как обычно, взял ее и осторожно потряс, нимало не сжимая. Хозяин знал толк в обхождении с образованными котами.

Вскоре я ощутил благодетельное действие пластыря и обрадовался, что отверг злополучное домашнее средство маленького пепельно-серого хирурга. Муций, посетив меня, нашел, что я весел и бодр. Вскоре я уже был в состоянии отправиться с ним на буршескую пирушку. Можно вообразить, с каким неописуемым ликованием меня встретили. Меня полюбили вдвое против прежнего.

С этих пор я зажил прекрасной жизнью бурша, и меня нисколько не заботило, что от нее выпадали лучшие волосы из моей шубы. Но долговечно ли счастье в мире сем? Не подстерегает ли нас враждебная сила в каждом наслаждении, нами вкушаемом, но...

*(Мак. л.)* ...высокий и крутой холм – в равнинной стране он сошел бы за гору. Наверх вела широкая, удобная дорога, обсаженная благоухающими кустами; каменные скамейки и беседки, во множестве расставленные по обеим сторонам, доказывали гостеприимную заботу о путешественнике. Только взойдя наверх, можно было убедиться, как обширно и великолепно здание, которое издали казалось одиноко стоящей церковью. Гербы, епископская митра, посох и крест, высеченные из камня над воротами, показывали, что прежде здесь была епископская резиденция, и надпись «Benedictus, qui venit in nomine Domini» [[29]](#footnote-28) приглашала входить набожных гостей. Но каждый посетитель невольно останавливался, пораженный, захваченный видом церкви с великолепным в стиле Палладио фасадом, с двумя высокими, легкими башнями; она была центром аббатства, а к ней с обеих сторон примыкали флигели. В главном здании находились покои аббата, а в боковых флигелях – кельи братьев, трапезная и другие залы собраний, а также комнаты для приема заезжих гостей. Неподалеку от монастыря расположились хозяйственные строения, мызы, дом управляющего; ниже, в долине, красивая деревушка Канцгейм опоясывала холм как пестрый, пышный венок.

Эта долина простиралась до подножия далеких гор. Многочисленные стада паслись на зеленых лугах, прорезанных зеркально-светлыми ручьями; крестьяне из сел, разбросанных там и сям, весело проезжали через тучные нивы; ликующее пенье птиц звучало из приветливых рощ; призывный клич рогов доносился из далекого темного леса; по широкой реке, струившейся через долину, быстро скользили доверху нагруженные лодки, плеща белыми парусами, и можно было слышать веселые возгласы лодочников. Всюду пышное изобилие, щедро ниспосланное благословение природы, всюду деятельная, вечно стремящаяся вперед жизнь. Вид с холма из окошка аббатства на приветливый ландшафт возвышал душу и наполнял ее сердечной отрадой.

При всем благородстве и грандиозности церкви, ее внутреннее убранство, вероятно, можно было справедливо упрекнуть в излишестве и монашеском безвкусии из-за обилия крикливо вызолоченной деревянной резьбы и крошечных образков; зато тем больше бросалась в глаза чистота стиля в архитектуре и убранстве покоев аббата. С хоров открывался вход в обширную залу, служившую монахам для собраний и одновременно для хранения музыкальных инструментов и нот. Длинный коридор, образованный ионийской колоннадой, вел из залы в покои аббата. Шелковые обои, картины лучших мастеров всевозможных школ, бюсты, статуи великих людей церкви, ковры, изящная настилка полов, драгоценная утварь – все здесь говорило о богатстве благоденствующего монастыря. Это богатство, видное во всем, не было той блестящей роскошью, что ослепляет взор, но не успокаивает его, ошеломляет, но не радует. Все было на своем месте, не лезло хвастливо в глаза, одно не мешало эффекту другого, поэтому ценность отдельных украшений не нарушала приятного чувства от общего вида покоев. Это приятное впечатление происходило исключительно оттого, что в убранстве не было ничего лишнего, а точное чувство меры и есть, вероятно, то, что обычно называют хорошим вкусом. Удобство и уютность покоев аббата граничили с пышностью, нигде не переступая этой границы, – словом, ничто не оскорбляло священного сана хозяина.

Аббат Хризостом, прибыв в Канцгейм несколько лет тому назад, велел обставить свои покои так, как они выглядели и теперь, и по этой обстановке можно было очень живо представить себе характер аббата и его образ жизни, даже не видав его самого и не зная о его высокой образованности. Ему лишь недавно перевалило за сорок. Высокий, статный, с одухотворенным, мужественно красивым лицом, с обращением, полным привлекательности и достоинства, аббат внушал всякому, кто с ним соприкасался, глубокое уважение, подобающее его духовному званию. Ревностный воитель церкви, неутомимый защитник прав своего ордена, своего монастыря, он казался податливым и снисходительным. Но эта-то мнимая податливость была оружием, которым он, отлично им владея, побеждал любое сопротивление, даже самых высших властей. Если и можно было заподозрить, что за простодушными, елейными речами, казалось полными чистосердечия, таится монашеское лукавство, то, слушая аббата, собеседник обнаруживал лишь гибкость выдающегося ума, проникшего в тайные пружины церковной жизни. Аббат был воспитанник римской Конгрегации пропаганды.

Сам не очень склонный отрекаться от радостей жизни, поскольку они совместимы с церковным уставом и обычаями, он и своим многочисленным подчиненным дал всю свободу, какую только они могли требовать при своем положении. Так и шло в монастыре: одни, увлеченные различными науками, изучали их в уединенных кельях, а в это время другие беззаботно гуляли в парке и развлекались веселыми разговорами; одни, склонные к мечтательной набожности, постились и проводили время в постоянных молитвах, другие же наслаждались яствами за обильно уставленным столом и выполняли только те религиозные обряды, которые были предписаны правилами ордена; одни не желали покидать аббатства, другие же отправлялись в далекий путь или же, когда наступала пора, меняли длинное монашеское одеяние на короткую охотничью куртку и рыскали по окрестностям, став отважными охотниками. Наклонности монахов были различны, и каждый мог свободно следовать своей собственной, но все они единодушно сходились в энтузиастическом пристрастии к музыке. Почти каждый из них был образованный музыкант, и между ними попадались виртуозы, которые сделали бы честь любой княжеской капелле. Богатое собрание нот, превосходный выбор инструментов позволяли каждому упражняться в том роде музыкального искусства, в каком ему хотелось, а частое исполнение избранных музыкальных произведений давало возможность сохранять должное совершенство в технике.

Этим-то музыкальным увлечением приезд Крейслера в аббатство дал новый толчок. Ученые захлопнули свои книги, благочестивые сократили свои молитвы, все собрались вокруг Крейслера, которого они любили и чьи произведения они ценили больше всех остальных. Сам аббат был сердечно привязан к нему и вместе со всеми старался выказать Крейслеру свое уважение и любовь. Местность, где стояло аббатство, можно было назвать раем; жизнь в монастыре доставляла весьма приятные удобства, например, отличный стол и благородное вино, о котором заботился отец Гиларий; среди братии царила сердечная веселость, исходившая от самого аббата, к тому же Крейслер, неутомимо занимавшийся своим искусством, купался в родной стихии; поэтому его экспансивный характер стал спокойнее; он сделался кроток и мягок, как ребенок. Но важнее всего была вновь обретенная вера в себя, а с этим исчез и призрачный двойник, что питался кровью, сочившейся из его растерзанного сердца.

Где-то уже говорилось о капельмейстере Иоганнесе Крейслере, что друзья никогда не могли заставить его что-нибудь записать, а если это когда и случалось, то сколько бы радости ни доставляла ему удача, он сейчас же бросал произведение в огонь. Наверное, это происходило в ту роковую пору, грозившую бедному Иоганнесу неотвратимой гибелью, о которой настоящему биографу до сих пор мало что известно. По крайней мере теперь, в Канцгеймском аббатстве, Крейслер остерегался уничтожать свои сочинения, так и лившиеся из самой его души; и его настроение выражалось в сладостной и благодетельной печали, пронизывавшей его творения, тогда как прежде он часто вызывал из глубин гармонии только могущественных духов, порождавших в человеческой груди страх, ужас, все муки безнадежно страстного томления.

Однажды вечером на хорах церкви состоялась последняя репетиция законченной Крейслером мессы; ее должны были исполнять на следующее утро. Братья разошлись по своим кельям; Крейслер остался один под колоннадой и смотрел на ландшафт, распростертый перед ним в мерцании последних лучей заходящего солнца. Ему казалось, будто он снова слышит откуда-то издали свое произведение, только что так живо исполненное братьями. И когда наступил черед «Agnus Dei» [[30]](#footnote-29), его вновь охватило невыразимое блаженство того мгновения, когда в нем родилось это «Agnus». «Нет, – воскликнул он, и жаркие слезы показались в его глазах, – нет, это не я! Это ты, ты одна, ты, моя единственная мысль, ты, моя единственная мечта!»

Удивительно, как возникла эта часть композиции, в которой аббат и братья нашли выражение самого пылкого благочестия и небесной любви. Полный мыслями о мессе, им начатой, но далеко еще не законченной, Крейслер как-то увидел во сне, будто день святого, для которого предназначалось сочинение, уже настал, звонят колокола, он стоит за пультом, перед ним готовая партитура, аббат, сам служащий обедню, подает знак, и его «Kyrie» [[31]](#footnote-30) начинается.

Часть за частью исполняется его месса, исполнение отличное, сильное, оно поражает его, увлекает – и вот уже «Agnus Dei». Но тут он вдруг с ужасом видит в партитуре белые страницы, на них нет ни одной ноты; братья смотрят на него, ожидая, что внезапно застывшая капельмейстерская палочка сейчас поднимется, что заминке придет конец. Свинцовой тяжестью легли на него смущение, страх, и хотя весь «Agnus» уже готов в его душе, он никак не может перенести его на партитуру. Неожиданно появляется милый ангельский образ, подходит к пульту, начинает небесным голосом «Agnus», и этот ангельский образ – Юлия! В порыве высокого воодушевления Крейслер пробудился и записал «Agnus», прозвучавший ему в блаженном сне. И этот сон приснился Крейслеру ныне еще раз. Он услышал голос Юлии; выше и выше вздымались волны напева, и когда наконец вступил хор: «Dona nobis pacem» [[32]](#footnote-31), он погрузился в море бесконечной, блаженной радости, переполнявшей его...

Легкий удар по плечу вывел Крейслера из овладевшего им экстаза. Перед ним стоял аббат Хризостом, устремив на него благосклонный взгляд.

– Не правда ли, – начал аббат, – не правда ли, сын мой Иоганнес, теперь ты радуешься от всего сердца, что тебе удалось великолепно и сильно воплотить в жизнь сокровенное твоей души? Я полагаю, ты вспоминаешь о своей торжественной мессе, которую я считаю одним из лучших творений, когда-либо тобою созданных.

Крейслер молча уставился на аббата; он еще был не в силах вымолвить ни слова.

– Ну, ну, – продолжал аббат с добродушной усмешкой, – спустись вниз из высших сфер, куда ты воспарил. Я совершенно уверен, ты мысленно сочиняешь и не оставляешь работы, конечно, радостной для тебя, но опасной, ибо она в конце концов истощит твои силы. Отвлекись на время от творческих мыслей, пойдем погуляем по этому прохладному коридору и непринужденно поболтаем друг с другом!

Аббат говорил об устройстве монастыря, о том, как живут монахи, восхвалял истинно светлое и набожное настроение, охватившее здесь всех, и напоследок спросил Крейслера, не ошибается ли он, аббат, полагая, что Крейслер, с тех пор как он находится в монастыре, стал спокойнее, непринужденнее, постояннее в деятельном влечении к высокому искусству, прославляющему служение церкви.

Крейслеру ничего не оставалось, как согласиться с этим и сверх того уверить, что аббатство открылось ему спасительным убежищем и что здесь все кажется ему таким родным, как будто он и впрямь брат ордена и никогда больше не покинет обители.

– Оставьте мне, достопочтенный отец, – так закончил Крейслер, – оставьте мне иллюзию, которой так способствует это одеяние! Позвольте мне верить, что, сбитый с пути опасной бурей, я, по милости благосклонной судьбы, пристал к затерянному островку, где и скрылся и где никогда не отлетит прекрасный сон, который есть не что иное, как вдохновение художника!

– В самом деле, сын мой Иоганнес, – ответил аббат, и особенная приветливость засияла на его лице, – платье, в которое ты облачился, чтобы казаться нашим братом, тебе очень к лицу, и я хотел бы, чтобы ты его никогда не снимал. Ты самый достойный бенедиктинец, какого только можно увидеть... Однако, – продолжал аббат после некоторого молчания, – не будем этим шутить. Вы знаете, Иоганнес, как я полюбил вас с того мгновения, когда познакомился с вами, как все возрастает моя сердечная дружба вместе с высоким уважением к вашему отличному таланту. Кого любят, о том заботятся, и эта-то забота заставила меня с боязнью наблюдать за вами все время, что вы здесь находитесь. В результате этих наблюдений я пришел к убеждению, от которого не могу отказаться. Давно уже я хотел открыть вам мое сердце; я ожидал благоприятного момента – он настал: Крейслер, отрекитесь от света! Вступайте в наш орден!

Как ни нравилось Крейслеру в аббатстве, как ни хотелось ему продлить свое пребывание там, дававшее ему мир и покой, побуждая к плодотворной художественной деятельности, предложение аббата неприятно поразило его, ибо он весьма далек был от мысли похоронить себя среди монахов, отказавшись от своей свободы, хотя уже несколько раз такая причуда приходила ему на ум, и аббат, вероятно, это заметил. Удивленный, он посмотрел на аббата, а тот, не дав ему вставить ни слова, продолжал:

– Выслушайте меня спокойно, Крейслер, прежде чем отвечать. Мне было бы радостно доставить церкви надежного служителя; но сама церковь осуждает искусственные уговоры и хочет только возбудить искру истинного познания, дабы она вспыхнула светло горящим пламенем веры, отвергнув всякое обольщение. И я хочу только раскрыть вам и довести до ясного сознания то, что, наверное, смутно теплится в вашей душе. Нужно ли мне говорить вам, Иоганнес, о существующем среди мирян сумасбродном предубеждении против монастырской жизни? Будто бы только ужасная судьба толкает человека в монашескую келью, где, отрекшись от всех наслаждений света, он обречен на непрерывную муку безотрадной жизни. Тогда монастырь был бы мрачной тюрьмой, где царит безутешная скорбь о навеки потерянных радостях, отчаяние, безумие изощренных самоистязаний, где сокрушенные, бледные призраки влачат жалкое существование, изливая терзающий сердце страх в монотонном бормотании молитв.

Крейслер не мог удержаться от улыбки, так как, когда аббат говорил о сокрушенных призраках, он вспомнил упитанных бенедиктинцев и особенно бравого краснощекого отца Гилария, не знавшего более страшных мучений, нежели приятие внутрь плохого вина, и иного страха, кроме как перед новой партитурой, в которой он не мог сразу разобраться.

– Вы улыбаетесь, – продолжал аббат, – контрасту между нарисованной мною картиной и монастырской жизнью, какой вы ее здесь узнали, и, конечно, имеете основания для этого. Возможно, что иные, сломленные земными страданиями, бегут в монастырь, отказавшись навсегда от всех мирских радостей, и благо им, если церковь примет их, ибо в ее лоне найдут они мир, который один только может утешить их в испытанных бедствиях и вознести над гибельной участью мирских стремлений! Но как много таких, кого приводит в монастырь истинная склонность к благочестивой, созерцательной жизни, кто не приспособлен к жизни в миру, всегда теряясь перед гнетом житейских мелочей, возникающих на каждом шагу, и чувствует себя хорошо только в добровольно избранном уединении! Однако, кроме тех и других, есть еще третьи, кто, не имея решительной склонности к монастырской жизни, только в монастыре и находит свое место. Я разумею тех, что всегда остаются чужестранцами в свете, ибо они причастны к высшему бытию и не мыслят жизни без служения этому высшему бытию; но оттого, что они неустанно преследуют недостижимое, они мечутся туда и сюда, вечно алкая в никогда не утолимом страстном томлении, и тщетно ищут покоя и мира; их незащищенную грудь поражает каждая выпущенная стрела; для их ран нет другого бальзама, кроме горькой насмешки над врагом, постоянно вооруженным против них. Только одиночество, однообразная жизнь, не нарушаемая враждебными силами, и, прежде всего, беспрестанное, свободное созерцание светлого мира, к коему они принадлежат, могут дать им равновесие и наполнить их душу неземным блаженством, недостижимым средь превратностей мирской жизни. И вы, Иоганнес, вы один из этих людей, коих предвечный, повергнув в земную скорбь, возвышает к небесному блаженству. Живое чувство высшего бытия, которое будет, да и должно вечно ссорить вас с пошлой земной суетой, могущественно сияет в искусстве; оно причастно к другому миру и, являя собою священную тайну небесной любви, заключено в вашем сердце, исполненном страстного томления. Это искусство – сама пламенная набожность, и, предавшись ему, вы совершенно отрешитесь от пестрой светской жизни, которую вы пренебрежительно отбрасываете от себя, как мальчик, созревший в юношу, – ненужную игрушку. Оградите же себя навсегда от вздорных насмешек язвительных глупцов, так часто терзавших вас до крови! Друг простирает к вам руки, дабы принять вас и ввести в надежную гавань, безопасную от всех бурь.

– Глубоко, – сказал серьезно и мрачно Иоганнес, когда аббат умолк, – глубоко чувствую я, мой достойнейший друг, истину ваших слов; правда, я не гожусь для мира, который предстает мне вечным загадочным недоразумением. И все же – я охотно признаюсь в этом – предубеждение, всосанное мною с молоком матери, заставляет меня бояться самой мысли надеть это платье; оно представляется мне тюрьмой, откуда я никогда не смогу выбраться. Мне кажется, будто этот мир, где капельмейстер Иоганнес находил все же немало хорошеньких садиков с благоухающими цветами, для монаха Иоганнеса обратится внезапно в глухую, неприветливую пустыню; будто для того, кто однажды замешался в живую жизнь, отречение...

– Отречение? – перебил капельмейстера аббат, возвысив голос. – В чем же отречение для тебя, Иоганнес, когда дух искусства день ото дня все сильнее овладевает тобою и могучим взмахом крыла ты возносишься в сияющие облака? Какая радость жизни способна еще ослепить тебя? Однако, – продолжал он мягче, – создатель вложил в нашу грудь чувство, потрясающее с непобедимой мощью все наше существо. Это – таинственные узы, связующие дух и тело; дух полагает, будто он стремится к высшему идеалу химерического блаженства, на самом же деле хочет только того, к чему понуждают нас потребности тела, и так возникает взаимодействие, порождающее продолжение рода человеческого. Нужно ли мне добавлять, что я говорю о плотской любви и что я вовсе не считаю безделицей полное отречение от нее. Но, Иоганнес, если ты отречешься, ты спасешь себя от гибели. Никогда, никогда не сможешь ты вкусить и не вкусишь химерического счастья земной любви!

Аббат произнес эти слова так торжественно, так напыщенно, как будто перед ним лежала открытая книга судеб и он возвещал из нее бедному Крейслеру все уготованные ему мучения, которых он мог избежать, лишь вступив в монастырь.

Но тут на лице Крейслера началась та странная игра мускулов, что обычно предшествовала появлению овладевавшего им духа иронии.

– Ха-ха! – воскликнул он. – Ваше высокопреподобие не правы, совершенно не правы. Ваше высокопреподобие заблуждаются в моей персоне, сбиты с толку моим одеянием, которое я надел, чтобы некоторое время подтрунивать над людьми en masque [[33]](#footnote-32) и, оставаясь неузнанным, говорить им на ухо их настоящие имена: пусть они знают, кто они. И разве я не вполне сносный мужчина, еще в цвете лет, довольно приятной наружности, и притом достаточно образованный и любезный? Разве не могу я вычистить прекраснейший черный фрак, надеть его, облачившись с ног до головы в шелковое белье, смело подступить к любой краснощекой, к любой каре- или голубоглазой профессорской дочке или дочке надворного советника и спросить у нее без дальнейших околичностей, с наивозможнейшей сладостью изящнейшего amoroso [[34]](#footnote-33) в манерах, лице и голосе: «Прелестнейшая, не пожелаете ли вы отдать мне вашу руку и к ней в придачу вашу драгоценную особу?» И профессорская дочка опустила бы глаза и тихо-тихо пролепетала бы: «Поговорите с папа!» Или же дочка надворного советника бросила бы на меня мечтательный взгляд и потом стала бы уверять, что она давно втайне заметила любовь, для которой я лишь теперь обрел язык, и мимоходом заговорила бы об отделке на подвенечном платье. И, о боже, как охотно почтительные господа папаши сбыли бы с рук своих дочерей в ответ на предложение такой почтенной персоны, как эрцгерцогский экс-капельмейстер. Но я мог бы также воспарить на романтические высоты, завести идиллию и предложить руку и сердце ясноглазой арендаторской дочке в ту минуту, когда она варит козий сыр, или, как второй нотариус Пистофолус, побежать на мельницу и отыскать там мою богиню в небесных облаках мельничной пыли. Кто бы отверг верное, честное сердце, ничего не желающее, ничего не требующее, кроме свадьбы, свадьбы, свадьбы? Нет для меня счастья в любви? Ваше высокопреподобие совсем не подумали о том, что я, собственно, и есть тот человек, который будет безмерно счастлив в любви, что моя немудреная тема – это «Коль хочешь ты меня, то я беру тебя», а ее дальнейшие вариации после свадебного allegro brillante будут разыгрываться в браке. Далее, ваше высокопреподобие не знает, что уже и раньше я очень серьезно подумывал о супружестве. Конечно, я был тогда еще юноша с недостаточным опытом и образованием, ибо мне было всего семь лет; но тридцатитрехлетняя девица, избранная мною в невесты, обещала мне, скрепив свою клятву объятиями и поцелуями, выйти замуж только за меня, ни за кого другого, и я сам не знаю, почему потом дело расстроилось. Заметьте же, ваше высокопреподобие, что счастье любви улыбалось мне уже в детском возрасте, – так подать мне скорее шелковые чулки, шелковые чулки и башмаки, чтобы с руками и ногами ринуться в жениховство и неудержимо лететь к той, что уже протянула мне нежнейший указательный пальчик, ждущий с нетерпением обручального кольца! Как ни недостойно честного бенедиктинца увеселяться козлиными прыжками, но я сейчас же немедленно станцую на глазах вашего высокопреподобия матлот, или гавот, или вальс-галоп, единственно от радости, охватывающей меня, когда я думаю о невесте и свадьбе. Ха-ха! По части блаженства любви и брака я молодец! Я бы хотел, чтобы вы поняли это, ваши высокопреподобие!

– Я, – ответил аббат, когда Крейслер наконец остановился, – я не хотел перебивать вашу странно-шутливую речь, Крейслер, ибо она как раз доказывает то, что я утверждал. Я прекрасно почувствовал жало, которое должно было меня уколоть, но не укололо. Благо мне, что я не верю в химерическую любовь, бесплотно витающую в воздухе и не имеющую ничего общего с основой человеческого естества! Возможно ль, что вы, при вашем болезненном возбуждении духа... Но довольно об этом! Пора ближе подойти к преследующему вас опасному врагу. Вы ничего не слышали о судьбе того несчастного художника, Леонгарда Этлингера, во время вашего пребывания в Зигхартсгофе?

Крейслер весь содрогнулся от таинственного ужаса, когда аббат назвал это имя. С его лица бесследно сбежал всякий след только что владевшей им горькой иронии, и он спросил глухим голосом:

– Этлингер? Этлингер? Что мне до него? Какое мне до него дело? Я никогда его не знал; то была лишь игра воспаленной фантазии, когда мне однажды примерещилось, будто он говорит со мною из озера.

– Успокойся, – сказал аббат нежно и мягко, пожимая руку Крейслера, – успокойся, сын мой Иоганнес! У тебя нет ничего общего с тем несчастным, кого заблуждение могущественно разросшейся страсти низринуло в пучину погибели, но его ужасная судьба может послужить для тебя предостерегающим примером. Сын мой Иоганнес, ты стоишь на еще более скользком пути, чем он; поэтому беги, беги! Гедвига! Иоганнес, дурной сон крепко держит принцессу в цепях, что кажутся нерасторжимыми, пока свободный дух не разобьет их. А ты?

Тысячи мыслей пронеслись в голове Крейслера при этих словах аббата. Он убедился, что аббату известно не только о всех обстоятельствах княжеского дома в Зигхартсгофе, но и о всем том, что случилось во время его пребывания там. Ему стало ясно, что принцессе при ее болезненной чувствительности его близость грозила опасностью, о которой он и не подозревал. А кто другой, кроме Бенцон, мог подозревать об этой опасности и потому добиваться его удаления со сцены? Разумеется, Бенцон была связана с аббатом, известившим ее о пребывании Крейслера в аббатстве, и, таким образом, она была двигательной пружиной всех поползновений его преподобия. Живо вспомнились ему те мгновения, когда принцесса действительно казалась охваченной зарождавшейся в душе страстью; однако при мысли, что сам он мог быть предметом ее страсти, он почувствовал какой-то таинственный страх. Ему казалось, что какая-то чуждая духовная сила хочет насильственно вторгнуться в его душу и похитить у него свободу мысли. Внезапно принцесса Гедвига встала перед ним и пристально посмотрела на него своим странным взглядом; и в то же мгновение электрический удар отдался эхом во всех его нервах, как в тот раз, когда он впервые прикоснулся к руке принцессы. Зато прежнего таинственного страха теперь как не бывало, он чувствовал, как электрическая теплота отрадно пронизала все его существо. Тихо, будто во сне, он проговорил:

– Маленькая плутовка, Raja torpedo, ты опять дразнишь меня, хоть и знаешь, что тебе нельзя безнаказанно ранить меня, так как я только из-за любви к тебе пошел в монахи.

Аббат взглянул на капельмейстера проницательным взором, словно хотел пронизать все его «я», затем торжественно спросил:

– С кем говоришь ты, сын мой Иоганнес?

Но Крейслер уже пробудился от своих грез, ему пришло в голову, что аббат, если он был извещен о всем случившемся в Зигхартсгофе, должен знать также и о дальнейшем ходе событий и что было бы хорошо побольше узнать об этом.

– Я, ваше высокопреподобие, – ответил он аббату, лукаво улыбаясь, – говорю, как вы слышали, не с кем иным, как с Raja torpedo, которая непрошено вмешивается в нашу разумную беседу и хочет сбить меня с толку еще больше, чем вы. Но я вижу по всему, что кое-кто считает меня таким же большим дураком, как блаженной памяти придворного портретиста Леонгарда Этлингера, намеревавшегося не только писать высокую персону, которой, естественно, не было до него дела, но и полюбить ее, и притом совсем так, как Ганс свою Грету. О боже, да разве у меня хоть раз недостало почтительности, когда я брал прекраснейшие аккорды, аккомпанируя гнусному верещанию? Заводил ли я разговоры о недостойных или вздорных материях, о любви и ненависти, когда их маленькое высокородное своенравие изволили чудно кривляться, увеселяясь всякими удивительными забавами, и морочить честных людей магнетическими видениями? Скажите, поступал ли я так когда-нибудь?

– Но однажды ты, Иоганнес, – прервал его аббат, – заговорил о любви артиста...

Крейслер пристально взглянул на аббата, сложил руки и воскликнул, воздев очи горе:

– О небо! Так значит – *это* ? Высокочтимые люди, – продолжал он, и шутовская усмешка вновь появилась на его лице, а голос пресекся от внутренней скорби, – высокочтимые люди, разве вы никогда не слыхали, хотя бы на самых обыкновенных подмостках, как принц Гамлет говорит честному человеку по имени Гильденстерн: «Хоть вы и умеете меня расстроить, но не умеете на мне играть». Черт возьми! Ведь так произошло и со мною! Зачем подслушиваете вы доверчивого Крейслера, если гармония любви, заключенная в его груди, только режет вам уши? О Юлия!

Внезапно пораженный чем-то неожиданным, аббат, казалось, тщетно искал слов, а Крейслер стоял перед ним, вперив свой полный экстаза взор в огненное море заката.

Тут на башнях аббатства раздались звуки колоколов и словно чудесные голоса неба понеслись к сияющим золотом вечерним облакам.

– С вами хочу я умчаться, аккорды! – воскликнул Крейслер, широко раскинув руки. – Пусть возвещаемая вами безутешная скорбь поднимется во мне и сама уничтожит себя в моей груди, пусть ваши голоса, подобно небесным гонцам мира, возвестят, что скорбь растворилась в надежде, в страстном томлении вечной любви!

– Уже звонят к вечерне, – сказал аббат, – я слышу шаги братьев. Утром, дорогой друг, мы, я думаю, еще поговорим о некоторых событиях в Зигхартсгофе.

– О! – воскликнул Крейслер, который только теперь вспомнил о том, что хотел выведать у аббата. – О ваше высокопреподобие, я хотел бы многое узнать о веселой свадьбе и тому подобном. Принц Гектор ведь не помедлит схватить руку, которой он уже издавна домогался? С великолепным женихом никаких неприятностей не случилось?

Тут вся торжественность исчезла с лица аббата, и он произнес со свойственным ему мягким юмором:

– С великолепным женихом, добрый мой Иоганнес, ничего не случилось, но его адъютанта, должно быть, укусила в лесу какая-то оса.

– Ха-ха! – рассмеялся Крейслер. – Оса, которую он жаждал истребить огнем и мечом!

Братья вошли в коридор и...

*(М. пр.)* ...старается ли она выхватить из-под самого носа честного, безобидного кота лакомый кусок? Недолго мы так благоденствовали, ибо наше славное содружество на чердаке получило удар, от которого ему не суждено было оправиться, и расстроившая все наши кошачьи радости вражья сила появилась в образе могучего, взбесившегося филистера по имени Ахиллес. С гомеровским тезкой у него было мало сходного, разве что геройство последнего заключалось преимущественно в медвежьей ловкости и бессмысленном горлопанстве. Ахиллес был, собственно, обыкновенной дворняжкой, но состоял на должности сторожевой собаки, и хозяин, к коему он поступил на службу, привязал его на цепь, дабы укрепить его привязанность к дому, оттого-то он мог рыскать на воле лишь по ночам. Некоторые из нас сострадали ему, невзирая на его невыносимый нрав; однако он не очень-то близко принимал к сердцу утрату своей свободы, ибо он был настолько безрассуден, что воображал, будто эта тяжеловесная цепь дарована ему для почета и украшения. К немалому раздражению Ахиллеса, наши собеседования тревожили его сон по ночам, когда ему полагалось рыскать по двору и охранять дом от всяких насильственных покушений, и он угрожал нам, нарушителям его покоя, лихой смертью. Но так как он при своей ловкости не мог взобраться даже на чердак, не то что на крышу, мы нимало не внимали его угрозам и вели себя по-прежнему. Тогда Ахиллес принял другие меры; он повел наступление против нас, как искусный генерал, начав с тайной подготовки, а потом перейдя к открытой перестрелке. Как только мы начали пенье, всевозможные шпицы, которым он порой оказывал честь играть с ними, захватив их в свои неуклюжие лапы, по его приказанию подняли такой зверский лай, что мы не могли разобрать ни одной осмысленной ноты. Более того! Кое-кто из этих филистерских лизоблюдов ворвался на чердак, и когда мы показали им когти, они, уклонившись от честного, открытого боя, подняли такой ужасный шум, рычание и лай, что не только был нарушен сон сторожевого пса, но и сам хозяин дома не мог сомкнуть глаз. Не видя конца подобному галдежу, он вышел из себя и схватил арапник, чтобы прогнать буянов, бесновавшихся над его головой.

О кот, читающий это! Если в груди твоей сокрыто истинное мужество, а в голове – светлый разум, если твои уши не отупели, то существует ли для тебя, говорю я, что-либо отвратительнее, противнее, ненавистнее и притом ничтожнее, нежели визжащий, пронзительный, диссонирующий во всех тонах лай исступленного шпица? Этого маленького, виляющего, тявкающего создания с жеманными ужимками – берегись его, кот! Не доверяй ему! Поверь мне, приветливость шпица опаснее, нежели выпущенные когти тигра! Однако умолчим о горьком и, увы, столь богатом опыте, который мы в сем смысле обрели, и возвратимся к дальнейшему ходу нашей истории.

Итак, хозяин, как сказано, схватил арапник, чтобы прогнать буянов с чердака. Но что же случилось? Шпицы завиляли ему навстречу хвостами, облизали ноги и представили все дело так, будто гвалт был поднят только ради его покоя, хотя хозяин из-за него-то как раз и лишился безмятежного сна. Они, мол, лаяли только на нас, так как мы учиняем нетерпимые бесчинства на крыше, распевая песни слишком звонкими и резкими голосами. Хозяин, увы, поддался болтливому красноречию шпицев и поверил им, тем более что сторожевой пес, когда он спросил его об этом, не преминул подтвердить все, ибо он затаил в душе злобную ненависть к нам. И началось преследование. Слуги сгоняли нас отовсюду метлами и черепицами; везде были поставлены западни и капканы, куда мы должны были попадаться и, к сожалению, попадались на самом деле. Мой дорогой друг Муций сам попал в беду, то есть в капкан, раздробивший ему самым плачевным образом заднюю лапу.

Так и закончилась наша веселая совместная жизнь, и я вернулся назад под печку хозяина, дабы в глубоком одиночестве оплакивать судьбу моего несчастного друга.

Однажды в гости к моему хозяину пришел господин Лотарио, профессор эстетики, а за ним в комнату впрыгнул Понто.

Не могу выразить, сколь неприятное, зловещее чувство пробудил во мне один вид Понто. Хоть он и не был ни сторожевой пес, ни шпиц, все же он был из того рода, чей подлый, враждебный нам образ мыслей разрушил мою жизнь в веселом обществе котов-буршей, и уже потому дружба, которую Понто мне выказывал, была весьма подозрительна. Кроме того, мне показалось, что во взгляде Понто, во всем его существе было нечто высокомерное, насмешливое, и посему я порешил лучше вовсе не говорить с ним. Тихо-тихо сполз я с моей подушки, одним прыжком скрылся в печке и запер за собой дверцу.

Господин Лотарио говорил с хозяином о чем-то мало меня интересовавшем, тем более что все мое внимание обратилось на молодого Понто, который, поплясав по комнате, фатовато напевая себе под нос какую-то песенку, вспрыгнул на подоконник, высунулся из окошка и, по обычаю фанфаронов, то и дело раскланивался с проходившими мимо знакомыми, даже слегка тявкая, вероятно, чтобы привлечь к себе взгляды красавиц из его племени. Казалось, обо мне ветреник даже и не вспомнил, и хотя я, как было сказано, вовсе не желал с ним разговаривать, все же мне было совсем не по душе, что он даже не справился обо мне. Совсем иначе и, как мне показалось, куда учтивей и разумнее вел себя профессор-эстетик господин Лотарио; поискав меня взглядом по комнате, он обратился к хозяину со словами:

– Но где же ваш превосходный мосье Мурр?

Для честного кота-бурша нет более гнусного обращения, чем «мосье»; но чего только не приходится терпеть от эстетиков на этом свете! Я простил профессору обиду.

Маэстро Абрагам уверил его, что с некоторых пор я отделился от него и редко бываю дома, особенно по ночам, и оттого выгляжу истощенным и усталым. Но я только что лежал на подушке, и он, право, не знает, куда я столь стремительно исчез.

– Я предполагаю, маэстро Абрагам, – продолжал профессор, – что ваш Мурр... Но не спрятался ли он и не подслушивает ли здесь где-нибудь! Давайте посмотрим!

Я тихо подался в задний угол печки; но можно представить, как я навострил уши: ведь речь шла обо мне. Хозяин Понто тщетно обшарил все углы, к немалому удивлению маэстро, воскликнувшего со смехом:

– Право, профессор, вы оказываете неслыханную честь моему Мурру!

– Ого! – ответил наш гость. – У меня не выходит из головы подозрение против вас и вашего педагогического эксперимента, имеющего целью превратить кота в поэта и сочинителя. Или вы уже совсем забыли о сонете, о глоссе, похищенной Понто чуть ли не из лап вашего Мурра. Но, как бы там ни было, я воспользуюсь отсутствием Мурра, чтобы сообщить вам об одном дурном предположении и настоятельно рекомендовать присматривать за поведением Мурра. Хотя прежде кошки меня мало заботили, все же от меня не ускользнуло, что многие раньше учтивые и разумные коты теперь вдруг переменили свои повадки, грубо нарушая порядок и обычаи. Они уже не гнут смиренно спину и не ласкаются, как прежде, а приняли надменный вид и вовсе не боятся выдать свою первобытную дикую натуру сверкающими взглядами и гневным ворчаньем и даже выпускать когти. Они столь же мало заботятся о том, чтобы иметь внешность благовоспитанных светских людей, как и о скромном, тихом поведении. Они пренебрегают и чисткой усов, и облизыванием шерсти до лоска, и откусыванием отросших не в меру когтей; лохматые, взъерошенные, с растрепанными хвостами бегают они, вызывая ужас и отвращение у всех воспитанных котов. Но что особенно достойно порицания и вовсе нетерпимо – это тайные сборища, которые устраивают они по ночам, и при этом предаются бесчинству, называя его пением, хотя нет ничего непереносимее для уха, чем этот бессмысленный аритмичный крик, фальшивый и лишенный всякой гармонии. Я боюсь, я очень боюсь, маэстро Абрагам, что ваш Мурр ступил на плохую дорожку и участвует в этих недостойных увеселениях, а это не принесет ему ничего, кроме изрядных побоев. Меня огорчило бы, если бы вы даром положили столько трудов на этого серого малого и если бы он со всей своей ученостью опустился до пошлого, беспорядочного существования вульгарных, беспутных котов.

Когда я услышал, сколь гнусно уничтожают меня, моего доброго Муция, всех моих великодушных братьев, я невольно испустил горестный звук.

– Что это было? – воскликнул профессор. – Я уверен, Мурр спрятался где-то в комнате. Понто! Allons! Ищи, ищи!

Одним прыжком Понто соскочил с подоконника и стал обнюхивать комнату. Перед печкой он остановился, сперва заворчал, затем громко залаял и подпрыгнул.

– Он в печке! Это несомненно! – заявил маэстро и отворил дверцы.

Я спокойно продолжал сидеть, поглядывая на своего хозяина ясными, блестящими глазами.

– Так и есть! – воскликнул он. – Так и есть. Он сидит тут, забившись глубоко в печку. Ну-с, не угодно ли тебе выйти? Вылезай!

Хоть у меня было мало охоты покидать свое убежище, я должен был повиноваться приказанию хозяина, ибо не желал допустить насилия над собой и таким образом остаться в накладе. Вот я и выполз. Едва я появился на свет, как профессор и хозяин воскликнули разом:

– Мурр! Мурр! На кого ты похож! И что это за штуки? Разумеется, я был в золе с ног до головы, к тому же моя внешность и вправду с некоторых пор заметно пострадала, поэтому мне пришлось узнать себя в сделанном профессором изображении котов-отщепенцев, и я вполне мог представить себе, какое жалкое зрелище являл я собой. Я сравнил мой достойный сожаления вид с видом моего друга Понто, красовавшегося в своей ловко сшитой, блестящей, красиво завитой шубе, и меня охватил глубокий стыд. Тихо и печально я отполз в угол.

– И это, – воскликнул профессор, – разумный, благонравный кот Мурр, изящный писатель, остроумный поэт, пишущий сонеты и глоссы? Нет, это самый обыкновенный домашний кот, из тех, что толпами бездельничают на кухне да только и умеют, что ловить мышей в погребах и на чердаках. Эй, скажи мне, мой благонравный скот, скоро ли ты получишь докторскую степень и взойдешь на кафедру профессором эстетики? Право же, премилую докторскую мантию нацепил ты на себя!

Насмешливые речи продолжались и дальше в том же роде. Что мне оставалось делать? Только поплотней прижать уши – таков уж был мой обычай во всех подобных случаях, то есть когда меня поносили.

Под конец профессор и хозяин разразились звонким хохотом, пронзившим мне сердце. Но, пожалуй, еще горше их смеха было для меня поведение Понто. Он не только одобрял насмешки своего хозяина всевозможными ужимками, корчил брезгливые рожи, но и открыто выставлял свой страх приблизиться ко мне – то и дело отскакивал в сторону, как бы боясь запачкать свою красивую чистую шубу. И должен признаться – немалое испытание для кота, сознающего свое превосходство, терпеть пренебреженье от какого-то фатишки-пуделя.

Профессор пустился в пространные разговоры с хозяином; они, по-видимому, не касались до меня и до моего рода, и к тому же понял я из них, собственно, немного. Однако, насколько я мог заметить, речь шла о том, что было бы лучше: противодействовать ли часто превратным и необузданным влечениям экзальтированного юношества открытой силой или же искусным и незаметным образом ограничивать его, давая ему простор для обретения собственного опыта, который вскоре сам по себе уничтожит эти влечения. Профессор был за открытую силу, ибо устроение всего ко всеобщему благу требует, чтобы каждый человек, сколь бы он этому ни противился, был бы как можно скорее втиснут в форму, обусловленную отношением отдельных частей к целому; иначе возникнет чудовищная несоразмерность, а она может послужить причиной всяческих бед. При этом профессор упоминал о любителях бить стекла под крики «Pereat!» [[35]](#footnote-34), что я не вполне понял. Маэстро, напротив, полагал, что с экзальтированными юношами, при их характере, нужно обходиться как со слегка помешанными: если открыто им противодействовать, их помешательство усиливается, тогда как самостоятельно достигнутое осознание своего заблуждения начисто излечивает их и позволяет более не опасаться возврата болезни.

– Ну, – воскликнул под конец профессор, вставая и берясь за трость и шляпу, – ну, маэстро, вы должны со мной согласиться хотя бы в том, что нужно беспощадно применять открытую силу против экзальтированных стремлений, когда они разрушительно вторгаются в жизнь! Поэтому – я опять возвращаюсь к вашему коту Мурру – все же очень хорошо, что порядочные шпицы, как я слышал, разогнали проклятых котов, так нечеловечески оравших и притом мнивших себя на удивление великими виртуозами.

– Как на это взглянуть, – ответил хозяин. – Если бы им позволили петь, быть может, они и сделались бы тем, чем они ошибочно себя воображали, то есть хорошими виртуозами, а теперь они сомневаются и в истинной виртуозности.

Профессор откланялся; Понто выскочил вслед за ним, даже не удостоив меня прощальным поклоном, как это он всегда делал раньше с большой приветливостью.

– Я сам тоже недоволен твоим поведением, Мурр, – обратился хозяин ко мне. – Пора тебе раз и навсегда образумиться и остепениться и вновь заслужить лучшую репутацию, чем та, какой ты, по-видимому, теперь пользуешься. Если бы ты был способен меня вполне понять, я бы тебе советовал быть всегда тихим и приветливым и совершать все, что тебе хочется предпринять, втихомолку, ибо именно так легче всего обрести хорошую репутацию. Для примера я могу назвать тебе двух людей: один из них каждый день в одиночестве садится в угол и тихо пьет вино, бутылку за бутылкой, покуда не делается совершенно пьян, однако от долгих практических упражнений он так хорошо умеет скрывать это, что никто и не подозревает о его состоянии. Другой, напротив, лишь иногда выпивает стакан вина в компании веселых, сердечных друзей. Напиток развязывает ему язык, раскрывает сердце; его настроение поднимается, он говорит много и горячо, но не оскорбляя ни нравов, ни приличий. И его-то свет зовет присяжным винососом, а тот – тайный пьяница – слывет тихим, умеренным человеком. Ах, Мурр, славный мой кот, если бы ты знал жизнь света, ты увидел бы, что филистер, скрывающийся в своей скорлупе, поступает умнее всех. Но как можешь ты знать, что такое филистер, хотя и среди твоего племени, наверное, много их!

При этих словах хозяина я не мог удержаться от громкого радостного фырканья и мурлыканья, сознавая, что благодаря наставлениям Муция и собственному опыту я достиг совершенного познания кошачьего рода.

– Мурр, кот мой! – воскликнул хозяин, громко смеясь. – Сдается мне, что ты меня понимаешь, и профессор прав, обнаружив в тебе какой-то особенный разум и устрашившись тебя, как своего эстетического соперника.

Для подтверждения, что это и вправду так, я издал звучное, гармоническое «мяу» и без дальнейших околичностей вспрыгнул хозяину на колени. Я не сообразил, что хозяин только что надел парадный шелковый шлафрок с большими цветами на желтом поле, и я его, разумеется, запачкал. С гневным «чтоб тебя...» маэстро отшвырнул меня так стремительно, что я перекувырнулся и в совершенном испуге, прижав уши и закрыв глаза, замер на полу. Но хвала мягкосердечию моего доброго хозяина!

– Ну, – сказал он приветливо, – ну, ну, Мурр, кот мой, тут не было злого умысла! Знаю, знаю, ты руководствовался добрыми намерениями: ты хотел доказать мне свою симпатию, но ты сделал это неуклюже, а в таких случаях кому дело до намерений! Ну иди сюда, мой маленький трубочист! Я вычищу тебя, и ты снова будешь походить на вполне порядочного кота.

С этими словами хозяин скинул шлафрок, взял меня на руки и не побрезговал вычистить мне шкуру мягкой щеткой, а потом маленьким гребешком расчесал мне волосы до блеска.

Когда туалет был закончен и я прогуливался мимо зеркала, то сам подивился тому, сколь внезапно я стал другим котом. И таким красивым я предстал перед собою, что не мог удержаться и с удовольствием помурлыкал самому себе. Не буду отрицать: великие сомнения касательно достоинств и пользы буршеского клуба зашевелились во мне. Мое бегство в печку сдавалось мне теперь сущим варварством, объяснимым лишь своеобразным одичанием, и я уже совсем не нуждался в предостережениях маэстро, воскликнувшего: «Только не лазить мне снова в печку!»

На следующую ночь мне почудилось, будто я слышу тихое царапанье в двери и боязливое «мяу!», кого-то мне напомнившее. Я подкрался и спросил, кто там. Тогда – я тотчас же признал его по голосу – мне ответил бравый староста Пуф:

– Это я, верный брат Мурр. Я принес тебе печальнейшую новость.

– О небо, что...

*(Мак. л.)* ...очень несправедливо поступала, моя дорогая, милая подруга! Нет, ты для меня больше, чем подруга, ты – моя верная сестра. Я мало тебя любила, мало доверялась тебе. Только теперь я открою тебе мое сердце, только теперь, так как я знаю...

Принцесса запнулась, слезы потоком хлынули из ее глаз. Она снова нежно прижала Юлию к сердцу.

– Гедвига, – мягко сказала Юлия, – разве раньше ты не любила меня всей душой? Разве у тебя когда-нибудь были тайны, которых ты не хотела мне доверить? Что ты знаешь? О чем ты только теперь проведала? Но нет, нет! Ни слова больше, пока твой пульс снова не успокоится, пока в твоих глазах не потухнет мрачный огонь!

– Не знаю, чего вы все от меня хотите, – ответила принцесса с внезапным раздражением и чуть ли не с обидой. – По-вашему, я больна, а я никогда не чувствовала себя такой сильной и здоровой. Вас напугал мой странный припадок, и все-таки возможно, что такой электрический удар, приостановивший всю жизненную деятельность, был для меня нужнее и полезнее всех средств, предложенных в злополучном самообольщении тупоумной, убогой медициной. Какое несчастье для меня этот врач, вознамерившийся управлять человеческой натурой, как часовым механизмом, который нужно только вычистить и завести! Он мне отвратителен с его каплями, его эссенциями! Неужели от всего этого должно зависеть мое благополучие? Нет, тогда земная жизнь была бы ужасающей насмешкой мирового духа!

– Твое чрезмерное возбуждение как раз и доказывает, – перебила Юлия принцессу, – что ты еще больна, Гедвига, и что тебе нужно беречься больше, чем ты это делаешь.

– И ты хочешь сделать мне больно! – воскликнула принцесса, поспешно вскочила, подбежала к окошку, отворила его и высунулась в парк. Юлия пошла за ней и, обняв ее, попросила с нежной грустью остерегаться хотя бы сурового осеннего ветра и не нарушать покоя, столь целительного для нее, по мнению врача. Но принцесса ответила, что как раз струя холодного воздуха, льющаяся в окно, подкрепляет ее и восстанавливает ее силы.

С глубочайшей сердечностью Юлия заговорила о недавних днях, когда над всем словно витал темный, грозный дух; о том, что им нужно собрать все свои внутренние силы, чтобы не растеряться от события, внушившего ей чувство, сравнимое лишь с самой настоящей смертельной боязнью привидений. Она подразумевала таинственное столкновение, происшедшее между принцем Гектором и Крейслером и заставлявшее предполагать самое ужасное; ибо вероятнее всего, бедный Иоганнес должен был пасть от руки мстительного итальянца, и спасся он, по мнению маэстро Абрагама, только чудом.

– И этот ужасный человек, – сказала Юлия, – должен был стать твоим мужем? Нет, никогда! Хвала всевышнему! Ты спасена. Он никогда не возвратится. Не правда ли, Гедвига? Никогда!

– Никогда! – ответила принцесса глухим, еле слышным голосом. Затем, глубоко вздохнув, она сказала тихо, как во сне: – Пусть этот чистый небесный огонь только светит и греет, не опаляя сокрушительным пламенем, и из души художника сверкает воплощенной в жизнь мечтой она сама – его любовь! Так говорил ты здесь тогда...

– Кто говорил это? – воскликнула потрясенная Юлия. – О ком вспомнила ты, Гедвига?

Принцесса провела рукой по лбу, как бы силясь возвратиться к действительности. Потом, шатаясь, она добрела с помощью Юлии до софы и опустилась на нее в совершенном изнеможении. Юлия, озабоченная состоянием принцессы, хотела было позвать камеристку, но Гедвига нежно усадила ее рядом с собой и прошептала:

– Нет, моя девочка, ты, только ты должна быть возле меня! Не думай, что у меня опять что-то вроде болезни! Нет, это была мысль о величайшем блаженстве, ставшая слишком ощутимой и грозившая разбить мое сердце, и ее небесный восторг превратился в смертельную боль. Побудь со мной, моя девочка! Ты сама не знаешь, какая у тебя удивительная, волшебная власть надо мной. Дай я загляну в твою душу, как в прозрачное, чистое зеркало, чтобы я в нем снова узнала себя! Юлия, часто мне кажется, будто на тебя сходит небесное вдохновение и будто слова, слетающие с твоих губ как дыхание любви, – утешительное пророчество. Юлия, моя девочка, останься со мной, не покидай меня никогда, никогда!

С этими словами принцесса, крепко сжимая руки Юлии, упала с закрытыми глазами на софу.

Юлия достаточно привыкла к тому, что порою принцессой овладевало болезненное перенапряжение духа; но теперешний ее пароксизм был для нее нов, совершенно нов и загадочен. Прежде это было страстное ожесточение, проистекавшее из несоответствия внутреннего чувства образу жизни и, разрастаясь до ненависти, оно оскорбляло детскую душу Юлии. Но теперь Гедвига казалась, чего никогда не было, совершенно изнемогающей от боли и невыразимой скорби, и эта безутешность столь же тронула Юлию, сколь усилила ее тревогу за любимую подругу.

– Гедвига! – воскликнула она. – Милая Гедвига, я не покину тебя; ни одно преданное сердце не привязано к тебе более моего; но скажи мне, о, скажи, доверься же мне, что мучит и терзает твою душу? Я погорюю, я поплачу вместе с тобой!

И тут по лицу Гедвиги скользнула странная улыбка; нежный румянец затрепетал на шеках, и, не открывая глаз, она прошептала тихо:

– Ведь правда, Юлия, ты не влюблена?

Странно почувствовала себя Юлия при этом вопросе принцессы: ее словно потряс внезапный испуг.

В чьем девичьем сердце не шевелились предчувствия страсти, этого, по-видимому, главного условия женского существования, ибо только полюбившая женщина – вполне женщина? Но чистая, детская, набожная натура не внемлет этим предчувствиям, она не желает разбираться в них и с похотливой нескромностью срывать покров со сладостной тайны, раскрывающейся лишь в тот миг, что сулит смутное томление. Так было и с Юлией: когда она неожиданно услышала вопрос о том, о чем не осмеливалась думать, то, испуганная, будто ее уличили в грехе, в котором она сама не отдавала себе отчета, она силилась проникнуть в глубину своей собственной души.

– Юлия, – повторила принцесса, – ведь ты не любишь? Скажи мне! Будь искренна!

– Как странен твой вопрос, – ответила Юлия. – И что я могу тебе ответить?

– Говори, о, говори же, – умоляла принцесса.

Тут душа Юлии вдруг озарилась солнечным сиянием, и она нашла слова, чтобы выразить открывшееся ей в собственном сердце.

– Что творится в твоей душе, Гедвига, когда ты спрашиваешь меня об этом? – начала она очень серьезно и спокойно. – Что такое для тебя любовь, о которой ты говоришь? Не правда ли, нужно ощущать влечение к любимому с такой непреодолимой силой, чтобы существовать и жить только мыслями о нем, отказаться ради него от самой себя и видеть в нем все свои стремления, все надежды, все желания, весь свой мир? И эта страсть должна возносить на вершины блаженства, да? У меня кружится голова от подобной высоты – ведь внизу зияет бездонная пропасть со всеми ужасами безвозвратной гибели. Нет, Гедвига, мое сердце не понимает такой любви, столь же ужасной, как и греховной, и я буду твердо верить, что оно останется навеки чистым, навеки свободным от нее. Но может, конечно, случиться, что мы отличаем какого-нибудь мужчину из всех других или даже чувствуем искреннее восхищение перед ним за выдающуюся мужественную силу его духа. Даже более того: в его присутствии мы чувствуем какую-то таинственную, сердечную отраду; кажется, будто наш дух только сейчас проснулся, будто только сейчас засияла нам жизнь; мы веселы, когда он приходит, и мы печалимся, когда он нас покидает. Ты назовешь это любовью? Ну, так почему бы мне не признаться тебе, что покинувший нас Крейслер вызывает во мне это чувство и что мне тяжко его не видеть?

– Юлия! – воскликнула принцесса, внезапно вскочив и пронизывая Юлию горящим взглядом. – Можешь ли ты вообразить его в объятиях другой и не испытывать при этом невыразимой муки?

Юлия покраснела и ответила голосом, выдававшим, как сильно она была оскорблена.

– Никогда я не воображала его в моих объятиях!

– Ты не любишь его! Ты не любишь его! – резко воскликнула принцесса и снова упала на софу.

– О! – сказала Юлия. – Если б он вернулся! Чисто и невинно чувство к этому дорогому человеку в моем сердце, и если я никогда больше его не увижу, мысль о нем, незабываемом, будет освещать мою жизнь прекрасной светлой звездой. Но, конечно же, он вернется назад! Как же можно...

– Никогда! – перебила Юлию принцесса раздраженным, резким тоном. – Никогда не сможет и не посмеет он возвратиться. Говорят, что он находится в аббатстве Канц-гейм и собирается, покинув свет, вступить в орден Святого Бенедикта.

На глазах Юлии показались светлые слезы; она молча встала и отошла к окошку.

– Твоя мать права, вполне права, – продолжала принцесса. – Хорошо, что его нет, этого сумасшедшего. Как злой дух ворвался он в тихие палаты нашего сердца, нарушил согласие наших душ. И музыка его была той волшебной сетью, которой он нас опутал. Никогда не захочу я вновь увидеть его.

Ударами кинжала были для Юлии слова принцессы; она схватилась за шляпу и шаль.

– Ты хочешь меня покинуть, моя милая подружка, – воскликнула принцесса. – Останься, останься и утешь меня, если можешь. Таинственным ужасом веет от этих зал, от парка! Так знай же... – С этими словами Гедвига подвела Юлию к окну, указала на павильон, где жил адъютант принца Гектора, и начала глухим голосом: – Взгляни туда, Юлия! Те стены скрывают грозную тайну; кастелян, садовники клянутся, что с отъездом принца там никто не живет, что двери крепко заперты, и все-таки... О, взгляни сейчас туда! Взгляни же – ты ничего не видишь в окне?

В самом деле, Юлия увидела в окне, прорезанном во фронтоне павильона, темную фигуру, которая тут же исчезла.

По мнению Юлии, ощущавшей, как болезненно содрогается рука принцессы в ее руке, здесь и речи не могло быть о какой-нибудь грозной тайне или о чем-нибудь сверхъестественном, скорее всего кто-нибудь из слуг без позволения занял пустой павильон. Павильон можно обыскать, и тогда сейчас же выяснится, что это за фигура показывается в окне. Но принцесса уверяла, что старый верный кастелян по ее желанию уже давно сделал все это и клялся, что в павильоне не найдено и следа человека.

– Дай я тебе расскажу, – сказала принцесса, – что произошло три ночи тому назад! Ты знаешь, что сон часто бежит от меня и что тогда я встаю и расхаживаю по комнатам, пока меня не одолеет усталость, помогающая мне заснуть. И вот третьего дня меня как раз мучила бессонница, и я забрела в эту комнату. Внезапно я заметила, как по стене пробежал трепещущий отблеск света. Я посмотрела в окно и увидела четырех человек: один из них нес потайной фонарь. Затем они скрылись в направлении павильона, но я не успела заметить, вошли ли они туда. Немного погодя окно осветилось, и в нем замелькали тени, потом опять стало темно, однако скоро в кустах замерцал ослепительный свет, падавший, должно быть, из открытой двери павильона. Свет все приближался, пока наконец из кустов не вышел монах бенедиктинец, несший в левой руке факел, а в правой – распятие. За ним следовали четыре человека с носилками на плечах, покрытыми черными сукнами. Едва они прошли несколько шагов, как навстречу им двинулась какая-то фигура в широком плаще. Они остановились, положили носилки; фигура отдернула покрывало, и стал виден труп. Я едва не упала без чувств и успела только заметить, что люди снова подняли носилки и поспешили за монахом по широкой тропинке, которая вскоре выводит из парка на дорогу в аббатство Канцгейм. С тех пор эта фигура показывается в окне, и, наверное, это пугающий меня дух злодейски убитого.

Юлия была склонна считать все происшествие сном или, если принцесса на самом деле бодрствовала у окна, – игрой возбужденного воображения. Кто мог быть этот мертвец, которого с такими таинственными церемониями уносили из павильона, – ведь никто не умер, и кто бы мог поверить, что этот неизвестный мертвец появляется по ночам там, откуда его унесли? Юлия высказала все это Гедвиге и добавила, что виденье в окне могло быть также оптическим обманом, а то и шуткой старого мага, маэстро Абрагама, который горазд на подобные проделки и, возможно, обратил пустой павильон в обиталище привидений.

– Так быстро, – мягко улыбаясь, сказала принцесса, совершенно овладевшая собой, – находим мы объяснение, случись что-нибудь чудесное, сверхъестественное! А что до мертвеца, то ты забываешь, что произошло в парке перед тем, как Крейслер нас покинул.

– Ради бога, – воскликнула Юлия, – неужели и вправду там совершилось ужасное дело? Кто? От чьей руки?

– Ты ведь знаешь, моя девочка, – продолжала Гедвига, – что Крейслер жив. Но жив и тот, кто тебя любит. Не смотри на меня так испуганно! Разве ты не подозревала раньше, о чем мне надо тебе сказать, дабы ты знала то, что может тебя погубить, если скрывать это и дальше? Принц Гектор любит тебя, тебя, Юлия, со всей дикой страстью итальянца. Я была его невестой, я и теперь его невеста, но та, кого он любит, это ты, Юлия.

Последние слова принцесса подчеркнула с особой резкостью, но, впрочем, без того выражения, которое выдает чувство внутренней горечи.

– О силы небесные! – воскликнула Юлия порывисто, и слезы хлынули из ее глаз. – Гедвига, ты хочешь разбить мне сердце? Какой мрачный дух говорит твоими устами! Нет, нет, ты можешь вымещать на мне, бедняжке, свои дурные сновидения, так расстроившие тебя, я охотно снесу это, но никогда я не поверю, что страшные сны твои могут сбыться. Гедвига, одумайся! Ведь ты уже не обручена с этим ужасным человеком, явившимся к нам воплощением гибели. Он никогда не вернется назад; никогда не будешь ты его женой.

– Нет, вернется, – ответила принцесса, – вернется! Приди же в себя, дитя! Когда церковь свяжет меня с принцем, только тогда, может быть, разрешится чудовищное недоразумение, сделавшее меня столь несчастной. Тебя спасет чудесное предопределение неба. Мы разлучимся. Я последую за мужем, ты останешься здесь.

От внутреннего волнения принцесса умолкла; Юлия тоже не могла произнести ни слова. Обе, заливаясь слезами, упали друг другу в объятья.

Доложили, что чай уже подан. Юлия пришла в такое волнение, которое никак не вязалось с ее рассудительным, спокойным характером. Она не могла быть на людях, и мать охотно разрешила ей отправиться домой, так как и принцесса тоже нуждалась в покое.

Фрейлейн Наннета в ответ на расспросы княгини уверила ее, что и после обеда и вечером принцесса чувствовала себя прекрасно, но пожелала оставаться наедине с Юлией. Насколько она могла заметить из соседней комнаты, принцесса и Юлия рассказывали друг другу всякую всячину, представляли комедию и то смеялись, то плакали.

– Милые девушки! – прошептал гофмаршал.

– Милостивая принцесса и милая девица! – поправил его князь, сверкнув на маршала совершенно круглыми очами. Потрясенный своим ужасным промахом, тот хотел было разом проглотить порядочный кусок сухаря, предварительно размоченного чаем. Но кусок застрял у него в глотке, и он так страшно раскашлялся, что должен был спешно оставить залу. Позорной смерти от удушья он избежал только благодаря искусству придворного квартирмейстера, исполнившего на его спине опытным кулаком отличное соло на литаврах. Провинившись в двух неприличностях, гофмаршал побоялся, как бы не совершить еще и третью; поэтому он не осмелился вернуться в залу и попросил извинить его перед князем внезапно приключившимся нездоровьем.

Отсутствие гофмаршала расстроило партию в вист, которую князь обычно разыгрывал по вечерам. Когда приготовили игорные столы, все напряженно ждали, что сделает сиятельная особа в столь критическом случае. Но князь не сделал ничего; дав знак остальным садиться за игру, он взял за руку советницу Бенцон, повел ее к канапе, предложил ей сесть и сам уселся рядом.

– Мне было бы весьма прискорбно, если б гофмаршал задохся от сухаря, – сказал он затем, как всегда тихо и мягко, Бенцон. – Однако он, как я уже примечал неоднократно, по вероятности, чрезвычайно рассеян, ибо он назвал принцессу Гедвигу девушкой, а его рассеянность была бы в висте чрезвычайно пагубна. Итак, дорогая Бенцон, мне сегодня весьма желательно и приятно вместо партии в вист здесь, в уединении, доверительно обменяться с вами несколькими словами, как прежде. Ах – как прежде! Но вам известна моя привязанность к вам, любезная сударыня! Она не прекратится никогда; княжеское сердце постоянно, ежели только неотвратимые обстоятельства не потребуют перемены.

С этими словами князь поцеловал руку Бенцон много нежнее, чем позволяли его положение, возраст и обстановка.

Бенцон, со сверкающими от радости глазами, заверила его, что она давно уже выжидала случая поговорить с князем с глазу на глаз, так как ей надобно кое-что сообщить ему, что, наверное, не будет для него неприятным.

– Узнайте же, всемилостивейший государь, – сказала советница, – советник посольства снова написал, что наше дело внезапно приняло более благоприятный оборот, и...

– Тише, дражайшая! – перебил ее князь. – Ни слова более о государственных делах! Ибо и князь облекается в шлафрок и надевает ночной колпак, когда, почти сокрушенный бременем правления, он отправляется на покой; не таков, разумеется, единственно Фридрих Великий, король прусский, который, что, вероятно, вам как особе начитанной известно, даже и в постели надевал фетровую шляпу. Словом, я полагаю, что и князю свойственно слишком многое из того, что... словом, что составляет, как говорится, мещанские добродетели, как-то: супружество, отеческие радости и тому подобное, и он не в силах вовсе отрешиться от этих чувств; donc [[36]](#footnote-35) по меньшей мере извинительно, что он предается им в те мгновения, когда государство, заботы о надлежащей благоустроенности двора и страны не всецело поглощают его. Дражайшая Бенцон, подобное мгновение настало! Семь подписанных бумаг лежат у меня в кабинете, и теперь дозвольте мне совершенно забыть о моем сане, – дозвольте мне здесь за чаем быть единственно отцом семейства – «Немецким отцом семейства» барона фон Геммингена! Дозвольте мне говорить о моих – да! – о моих детях, причиняющих мне столько горя, что я порою готов впасть в совершенно неприличное расстройство чувств!

– О ваших детях будет идти речь, всемилостивейший государь? – колко спросила Бенцон. – Иначе говоря, о принце Игнатии и принцессе Гедвиге. Говорите, всемилостивейший государь, говорите. Может быть, я смогу дать вам совет и принести утешение, подобно маэстро Абрагаму.

– Да, – продолжал князь, – совет и утешение были бы мне по временам необходимы. Так вот, сперва касательно принца; разумеется, ему нет надобности в особых дарованиях, коими природа наделяет тех, кто иначе по причине своего низкого звания оставался бы в забвении и ничтожестве. Но все же для него было бы желательно несколько более esprit [[37]](#footnote-36), он – simple [[38]](#footnote-37) и пребудет им. Взгляните, вот он сидит, болтает ногами, делает в игре промах за промахом и хихикает и смеется, как семилетний мальчик! Бенцон! Entre nous soit dit [[39]](#footnote-38) – он никогда не освоит искусства письма в той мере, в какой оно ему потребно, – его княжеская подпись подобна каракулям. Всеблагое провидение, что-то будет? Недавно я был потревожен в моих занятиях мерзким лаем под окном. Я бросил взор вниз, дабы прогнать отвратительного шпица, и что же я узрел? Поверите ли, дражайшая сударыня? Это был принц, с громким лаем, подобно безумцу, скакавший вслед за мальчишкой садовника. Они играли в собаку и зайца. Я сомневаюсь, есть ли у него хоть некоторый разум? Таковы ли должны быть княжественные увлечения? Обретет ли принц когда-либо хоть малейшую самостоятельность?

– Поэтому необходимо, – ответила Бенцон, – поскорее женить принца и выбрать для него жену, чья прелесть, обаяние и ясный разум пробудят его дремлющие чувства, – жену, достаточно добрую, чтобы снизойти к его ребячливости и постепенно возвысить его до себя. Женщине, предназначенной принадлежать принцу, эти свойства необходимы, чтобы вызволить его из этого душевного состояния, которое – с болью говорю я это, всемилостивейший государь! – наконец может обратиться в подлинное безумие. Поэтому тут все решают только эти редкие свойства, и нельзя строго считаться с происхождением.

– Никогда, – сказал князь, наморщив лоб, – никогда не бывало мезальянсов в нашем доме. Откажитесь от помысла, коего я не могу одобрить. Я был всегда и ныне готов исполнить все иные ваши пожелания.

– Мне это вовсе не известно! – резко вставила Бенцон. – Как часто справедливые желания должны были умолкать ради химерических соображений! Но есть требования, которые выше всяких условностей.

– Laissons cela! [[40]](#footnote-39) – перебил князь Бенцон, откашлявшись и взяв щепотку табаку. После некоторого молчания он продолжал: – Еще более принца меня печалит принцесса. Скажите, Бенцон, возможно ль, чтобы от нас произошла дочь со столь странным нравом и, даже более того, со столь странной болезненностью, повергающей в затруднение самого лейб-медика? Не наслаждалась ли всегда княгиня цветущим здоровьем? Была ли она склонна к мистическим нервным припадкам? Я сам? Не был ли я всегда сильным и телом и духом князем? Как же явилось у нас дитя, которое – к моей горькой печали, мне надлежит признать это – кажется вовсе безумным, попирающим и отвергающим все княжеские благоприличия?

– Для меня натура принцессы также непостижима, – ответила Бенцон. – Мать была всегда невозмутима, разумна, свободна от всех гибельных, пылких страстей. – Последние слова Бенцон произнесла тихо и глухо, про себя, опустив глаза.

– Вы разумеете княгиню? – спросил князь с ударением, так как ему показалось непристойным, что к слову «мать» не было добавлено «княгиня».

– О ком же другом могла я думать? – сдержанно ответила Бенцон.

– Не развеял ли в прах последний фатальный случай с принцессой весь успех моих трудов и радость от скорого ее супружества? – продолжал князь. – Ибо, дорогая Бенцон – entre nous soit dit, – единственно внезапная каталепсия принцессы, приписываемая мною лишь сильной простуде, виною тому, что принц Гектор нежданно уехал. Он хочет разорвать с нами – juste ciel! [[41]](#footnote-40) – и я должен признаться, что не могу пенять на него за это, так что, ежели бы приличия и без того уже не запрещали мне всякого более короткого сближения, один его отъезд удержал бы меня, князя, от дальнейших шагов к осуществлению желания, от коего я отступаюсь весьма неохотно и только по принуждению. Согласитесь со мной, любезная сударыня, что всегда несколько страшно иметь супругу, подверженную подобным удивительным припадкам. Что, ежели такая княжественная, однако каталептическая супруга остановится, подобно автомату, посреди наиблестящего двора, принудив тем достойных особ, там присутствующих, подражать ей, оставаясь недвижимыми? Без сомнения, двор, настигнутый всеобщей каталепсией, явил бы собою торжественнейшее и возвышеннейшее зрелище в мире, ибо в нем малейшее нарушение надлежащего достоинства было бы невозможно даже для легкомысленнейших особ. Однако чувство, охватывающее меня в подобные семейно-отеческие мгновения, дозволяет мне заметить, что такое состояние невесты должно некоторым образом внушать леденящий ужас княжественному жениху, и посему, Бенцон, вы, достойная, разумная дама, – вы, вероятно, сыщете возможность покончить дело с принцем, какой-либо способ?..

– Этого совсем не нужно, всемилостивейший государь! – живо перебила советница князя. – Вовсе не болезнь принцессы так быстро оттолкнула принца; в этой игре другая тайна, и в эту тайну замешан капельмейстер Крейслер.

– Как? Что вы сказали, Бенцон? Капельмейстер Крейслер? – воскликнул князь в полном удивлении. – Следовательно, правда, что он?..

– Да, всемилостивейший государь, – подтвердила советница, – принца удалило столкновение с Крейслером, которое, вероятно, должно было завершиться слишком героическим образом.

– Столкновение? – перебил князь советницу. – Столкновение... завершиться героическим образом? Выстрел в парке! Окровавленная шляпа! Бенцон, это невозможно! Принц – капельмейстер, дуэль – rencontre! [[42]](#footnote-41) И то и другое немыслимо.

– Всемилостивейший государь, – продолжала советница, – нет никакого сомнения, что Крейслер оказал огромное влияние на чувства принцессы и что этот непонятный страх, более того – ужас, который она испытывала в присутствии Крейслера, превратился в гибельную страсть. Возможно, принц был достаточно наблюдателен и заметил, что в Крейслере, сразу же выступившем против него с враждебной, ядовитой иронией, он имеет опасного противника, от которого он и счел нужным избавиться. Это толкнуло его на поступок, который – хвала создателю! – не увенчался успехом и не может быть оправдан ничем, кроме как кровавой ненавистью за оскорбленную честь и ревностью. Я признаю, что все это не объясняет скоропалительного отъезда принца и что тут, как я уже сказала, кроется какая-то тайна. Принц, по словам Юлии, убежал, испуганный портретом, который показал ему Крейслер, всегда носивший портрет с собой. Но как бы то ни было, а Крейслера нет, и кризис принцессы уже миновал. Поверьте мне, всемилостивейший государь, если Крейслер остался бы, бурная страсть к нему вспыхнула б в сердце принцессы, и она охотнее умерла бы, чем отдала принцу свою руку. Теперь все это обернулось иначе; скоро принц Гектор вернется, и его брак с принцессой положит конец всем тревогам.

– Бенцон! – вскипел князь. – Какая дерзость со стороны презренного музыканта! Его намеревается полюбить принцесса, отказывая в своей руке любезнейшему принцу? Ah le coquin! [[43]](#footnote-42) Ну, лишь ныне я вас совершенно уразумел, маэстро Абрагам! Вам придется избавить меня от этой фатальной личности, дабы она никогда более не возвращалась!

– Все, что мог бы предложить для этого мудрый маэстро Абрагам, – сказала советница, – оказалось бы излишним, потому что все уже совершилось как нужно. Крейслер находится в аббатстве Канцгейм и, как пишет мне аббат Хризостом, наверное, решится покинуть свет и вступить в орден. Я уже осведомила об этом принцессу в благоприятную минуту и, так как я не заметила при этом в ней никакого особого волнения, могу поручиться, что угрожающий кризис, как я говорила, уже миновал.

– Божественнейшая, достолюбезнейшая сударыня! – заговорил князь. – Сколь много преданности явили вы мне и моим детям! Сколь печетесь вы о благе, о процветании моего дома!

– В самом деле? – заметила Бенцон горько. – Это я-то? Могла ли я, имела ли я право всегда заботиться о счастье ваших детей?

Бенцон сделала на этих словах особое ударение; князь молча смотрел себе под ноги и, сложив руки, перебирал большими пальцами. Наконец он тихо пробормотал:

– Анджела! Все еще никаких следов? Совсем исчезла?

– Да, это так, – ответила Бенцон, – и я опасаюсь, что несчастное дитя сделалось жертвой какой-нибудь гнусности. Ее как будто видели в Венеции; но, конечно, это ошибка. Признайтесь, всемилостивейший государь, вы поступили ужасно жестоко, велев оторвать дитя от материнской груди и обрекая его на безнадежное изгнание. Эта рана, нанесенная мне вашей суровостью, никогда не перестанет болеть.

– Бенцон, – сказал князь, – не назначил ли я вам и ребенку значительное пожизненное содержание? Мог ли я сделать больше? Останься Анджела здесь, разве не был бы я принужден каждое мгновение страшиться, что наши faiblesses [[44]](#footnote-43) обнаружатся и возмутят благопристойный покой нашего двора? Вы хорошо знаете княгиню. И знаете также, что у нее иногда бывают особые причуды.

– Значит, – заговорила советница, – деньги, пожизненное содержание должны вознаградить мать за всю боль, за всю скорбь, за все горькие слезы о потерянном ребенке? Право, всемилостивейший государь, можно по-другому позаботиться о своем ребенке и лучше успокоить мать, чем все золото мира.

Бенцон произнесла эти слова со взглядом и с выражением, несколько смутившими князя.

– Досточтимая сударыня, – начал он растерянно, – что за странные мысли? Или вы полагаете, что бесследное исчезновение нашей милой Анджелы для меня не прискорбно и не бедственно? Она, вероятно, сделалась бы учтивой и прекрасной девицей, ибо она произошла от красивых, прелестных родителей.

Князь снова очень нежно поцеловал руку Бенцон, но она быстро отдернула ее и со сверкающим пронзительным взглядом прошептала князю на ухо:

– Признайтесь, всемилостивейший государь, вы были несправедливы, жестоки, настояв на удалении ребенка. И разве вы не обязаны исполнить мое желание? Я, будучи довольно добра, охотно сочла бы это некоторым возмещением за мои страдания.

– Бенцон, – ответил князь еще смиреннее, чем прежде, – добрейшая, божественная Бенцон, разве наша Анджела не сможет сыскаться? Я свершу нечто героическое, дабы исполнить ваше желание, дражайшая сударыня. Я хочу довериться маэстро Абрагаму и обсудить это с ним. Он – разумный, сведущий человек; вероятно, он может помочь.

– О! – перебила Бенцон князя. – Оставьте маэстро Абрагама! Вы думаете, всемилостивейший государь, что он и впрямь расположен что-нибудь сделать для вас, что он привязан к вашему дому? Но как удастся ему что-нибудь выпытать о судьбе Анджелы, после того как все розыски во Флоренции и Венеции оказались напрасны и, что самое скверное, у него было похищено таинственное средство узнавать неведомое!

– Вы разумеете его жену, злую колдунью Кьяру? – спросил князь.

– Еще очень сомнительно, – ответила советница, – заслужила ли такое прозвище женщина, одаренная высшими, чудесными силами, притом, вероятно, только кем-то вдохновляемая. Во всяком случае, было несправедливо и бесчеловечно похитить у маэстро Абрагама любимое существо, к которому он был привязан всей душой, вернее, которое было частью его самого.

– Бенцон! – воскликнул князь в полном испуге. – Бенцон, сегодня я вас не узнаю! У меня голова идет кругом! Не вы ли сами были согласны, что надлежит удалить опасное создание, с помощью коего маэстро Абрагам вскоре раскрыл бы наши отношения? Не вы ли сами одобрили мое послание к эрцгерцогу, в коем я излагал ему, что, поелику волшебство в стране давно воспрещено, далее невозможно терпеть особ, кои промышляют оным занятием, и безопасности ради их надлежит на время заключить под стражу? Разве не единственно из сострадания к маэстро Абрагаму над таинственной Кьярой не была учинена открытая расправа: ее схватили без всяческого шума и выслали, мне даже неведомо куда, ибо я более о том не заботился. В чем же возможно меня упрекнуть?

– Прошу прощения, всемилостивейший государь, – ответила Бенцон, – и все же вас можно упрекнуть по меньшей мере за поспешный поступок. Знайте, всемилостивейший государь, маэстро Абрагам проведал, что его Кьяру удалили по вашему приказанию. Он тих, он приветлив; но неужели вы, всемилостивейший государь, полагаете, что он не лелеет в сердце ненависти и жажды мести тому, кто похитил у него самое дорогое в мире? И этому человеку хотите вы довериться, хотите открыть ему душу?

– Бенцон, – сказал князь, вытирая крупные капли пота со лба. – Бенцон, вы меня нервируете до чрезвычайности, можно сказать, неописуемо! Боже милостивый! Подобает ли князю так терять contenance? [[45]](#footnote-44) Черт побери! Бог мой, уж не бранюсь ли я здесь, за чаем, как драгун! Бенцон! Отчего вы не сказали мне этого раньше? Он уже знает все! В рыбачьей хижине, когда я был в совершенном расстройстве чувств из-за припадка принцессы, я излил ему свою душу. Я сказал об Анджеле, я открыл ему все, Бенцон, это ужасно! J'etais un [[46]](#footnote-45) осел! Voila tout! [[47]](#footnote-46)

– А он? – напряженно спросила Бенцон.

– Сколько я помню, – продолжал князь, – маэстро Абрагам завел сперва речь о прежней нашей attachement [[48]](#footnote-47) и о том, каким счастливым отцом я мог бы стать, вместо того чтобы быть, как ныне, отцом несчастнейшим. Когда я закончил свои признанья – и это уж достоверно, – маэстро молвил с улыбкою, что все ему давно уже известно и что, по всей вероятности, вскоре выяснится, где пребывает Анджела. Многие тайны станут тогда явью, многие обманы рассеются.

– Маэстро сказал это? – спросила Бенцон дрожащими губами.

– Sur mon honneur [[49]](#footnote-48), – ответил князь, – он сказал это! Тысяча дьяволов! Пардон, Бенцон, но я гневен. А вдруг старик пожелает мне отомстить? Бенцон, que faire? [[50]](#footnote-49)

Князь и Бенцон безмолвно уставились друг на друга.

– Светлейший повелитель! – тихо пролепетал камер-лакей, поднося князю чай.

– B&#234;te! [[51]](#footnote-50) – крикнул князь, стремительно поднявшись и выбив из рук лакея поднос вместе с чашкой. Все в ужасе вскочили из-за игорных столов. Игра кончилась; князь, овладев собой, улыбнулся, кинул испуганному обществу приветливое «adieu» и направился с княгинею во внутренние покои. На лице каждого можно было ясно прочесть: «Боже, что это, что это значит? Князь не играл, так долго, так горячо говорил с советницей и потом так ужасно разгневался!»

Между тем советница Бенцон не могла, разумеется, предчувствовать, какая сцена ожидает ее в собственном доме, стоявшем бок о бок с замком. Не успела она войти, как навстречу ей бросилась Юлия совершенно вне себя и... Но наш биограф очень доволен, что на сей раз он может рассказать обо всем приключившемся с Юлией, пока у князя пили чай, гораздо лучше и яснее, чем о многих других событиях этой запутанной, по крайней мере до сих пор, истории. Итак...

Мы знаем, что Юлии было позволено уйти домой пораньше. Лейб-егерь освещал ей дорогу факелом. Едва они отошли на несколько шагов от замка, как вдруг лейб-егерь остановился и поднял факел вверх.

– Что там? – спросила Юлия.

– Эге! – протянул в ответ лейб-егерь. – Фрейлейн Юлия, заметили вы фигуру, быстро прошмыгнувшую вон там перед нами? Я не знаю, что и подумать, но несколько вечеров подряд здесь шныряет какой-то человек, и, судя по тому, как он скрывается ото всех, он, должно быть, затеял недоброе. Мы уже расставляли ему всевозможные ловушки, но он ускользает из рук, вернее, пропадает на наших глазах, как призрак или как сама нечистая сила.

Юлия вспомнила о виденье в окне павильона и задрожала от леденящего страха.

– Пойдемте скорее отсюда, ах, пойдемте скорее! – крикнула она егерю. Но тот, смеясь, заявил, что милой барышне, мол, нечего бояться: прежде чем привидение сможет причинить ей какой-либо вред, ему придется иметь дело с ним, лейб-егерем; кроме того, неизвестное существо, замеченное в окрестностях замка, бесспорно состоит из костей и мяса, как и другие честные люди, а трусит и боится света, словно заяц.

Юлия отослала спать свою горничную, которая жаловалась на головную боль и лихорадочный озноб, и надела ночное платье без ее помощи. Теперь, когда она была одна в своей комнате, в ее душе снова встало все, о чем говорила ей принцесса в состоянии, объясняемом только болезненным возбуждением. И все-таки не было сомнений, что это болезненное возбуждение могло иметь лишь психическую причину. Невинные, чистые душой девушки редко отгадывают истину в таких запутанных случаях. Точно так же и Юлия, когда она снова восстановила все в памяти, могла предположить только, что принцесса охвачена ужасной страстью, так страшно изображенной самой Юлией, как если бы предчувствие этой страсти таилось в ее собственной душе, и что принц – тот человек, кому принцесса предалась всей душой. И теперь, заключила она, Гедвигой, бог знает почему, овладела безумная мысль, будто принц любит кого-то другого, мысль эта мучит ее как неустанно преследующий призрак, и поэтому душа принцессы в ужасном смятении.

«Ах, – сказала Юлия сама себе, – добрая, милая Гедвига, как только принц Гектор вернется, ты сразу убедишься, что тебе нечего опасаться твоей подруги!»

Но когда Юлия произнесла эти слова, мысль, что принц ее любит, выступила в ее душе так ясно, что она испугалась ее силы и жизненности и почувствовала невыразимый страх: если правда то, о чем говорила принцесса, то ее, Юлии, гибель предрешена. Тогдашнее странное, отталкивающее впечатление от взгляда принца, от всего его существа снова пришло ей на ум; тогдашний страх снова пробежал по ее телу. Она вспомнила о том мгновении на мосту, когда принц, обняв ее, кормил лебедя, те замысловатые речи, какие он произносил, и как ни безобидны представлялись они ей тогда, теперь они показались ей полными глубокого значения. Она вспомнила и о зловещем сне, когда она почувствовала, как охватили ее железные руки – это принц крепко держал ее, – о том, как она, проснувшись, заметила в саду Крейслера, и весь он стал ей понятен, и она подумала, что он защитит ее от принца.

– Нет! – громко воскликнула Юлия. – Нет! Это не так, это не может быть так, это невозможно! Это злой дух, сама преисподняя будит грешные сомнения во мне, несчастной! Нет, он не получит власти надо мной!

С мыслями о принце, о тех опасных мгновениях, где-то в потаенной глубине души Юлии зашевелилось чувство, о грозности которого можно было догадаться только по тому, что от стыда за это чувство кровь бросилась ей в лицо и на глазах выступили горячие слезы. Благо для милой, набожной Юлии, что она обладала достаточной силой, чтобы заклясть злого духа и не дать ему утвердиться в ее сердце.

Здесь надо бы вновь повторить, что принц Гектор был самый красивый и любезный мужчина, какого только можно представить, что его искусство нравиться было основано на глубоком знании женщин, приобретенном им в жизни, полной счастливых приключений, и что именно молодая, чистая девушка могла испугаться победоносной силы его взгляда, всего его существа.

– О Иоганнес! – сказала она нежно. – О добрая, прекрасная душа! Разве не найду я у тебя обещанной мне защиты? Разве ты не утешишь меня, говоря со мной небесными звуками, что так громко отдаются эхом в моей груди?

С этими словами Юлия открыла фортепьяно и начала играть и петь любимые сочинения Крейслера. Скоро и вправду она утешилась и повеселела; пение перенесло ее в другой мир; для нее больше не существовало ни принца Гектора, ни даже Гедвиги, чьи болезненные видения, должно быть, ее расстроили.

– Ну, теперь еще мою самую любимую канцонетту! – сказала Юлия и начала «Mi lagnero tacendo» [[52]](#footnote-51), положенную на музыку столь многими композиторами. Действительно, эта песня удалась Крейслеру лучше всех. Сладостная скорбь страстного томления любви была выражена мелодией, простой и правдивой, с силой, непреодолимо захватывающей каждую впечатлительную душу.

Юлия окончила; совершенно погрузившись в мысли о Крейслере, она взяла еще несколько отрывочных аккордов, прозвучавших как эхо ее внутренних переживаний. Вдруг двери распахнулись; она взглянула туда, и, прежде чем успела подняться со стула, принц Гектор упал к ее ногам и удержал, схватив ее за руки. От внезапного ужаса она громко вскрикнула; но принц Гектор Девой Марией и всеми святыми заклинал ее успокоиться и подарить ему лишь две минуты небесного восторга видеть ее, слышать ее. Затем он стал уверять ее в выражениях, какие могли быть подсказаны только неистовством самой пылкой страсти, что он обожает ее, одну ее, что мысль о браке с Гедвигой для него ужасна, смертельна, что поэтому он хотел убежать, но вскоре, увлекаемый могуществом страсти, которая окончится только с его смертью, он вернулся, чтобы увидеть Юлию, поговорить с ней, сказать ей, что только она одна – вся его жизнь, все для него.

– Прочь! – воскликнула Юлия в безнадежном душевном смятении. – Прочь! Вы убиваете меня, принц!

– Никогда! – воскликнул принц, в неистовстве любви прижимая руку Юлии к губам. – Никогда. Настало мгновенье, что дарует мне жизнь или смерть! Юлия, небесное дитя! Неужели ты отвергнешь меня, отвергнешь того, для кого ты – вся жизнь и блаженство? Нет, ты любишь меня, Юлия, я знаю это! О, скажи мне, что ты любишь меня, и мне разверзнутся небеса неизреченного восторга!

С этими словами принц обнял Юлию, почти потерявшую сознание от страха и ужаса, и пылко прижал ее к груди.

– Горе мне! Кто сжалится надо мной? – воскликнула Юлия, почти задыхаясь.

Тут вдруг огонь факелов осветил окна, и у двери послышались голоса. Пламенный поцелуй обжег губы Юлии. Принц исчез.

Как было сказано, Юлия вне себя бросилась навстречу матери, и та с ужасом услышала от нее, что произошло. Стараясь всеми мерами утешить бедную Юлию, советница начала уверять ее, что принца, к его позору, вытащат из потаенного убежища, где он, по-видимому, находится.

– О мама, не делай этого! – сказала Юлия. – Я погибла, если князь, если Гедвига об этом узнают... – Рыдая, она упала к матери на грудь и спрятала лицо.

– Ты права, мое милое, доброе дитя, – ответила Бенцон. – До поры до времени никто не должен знать, что принц здесь, что он преследует тебя, милая, благочестивая Юлия! Заговорщики будут вынуждены молчать. Ибо нет ни малейшего сомнения – у принца есть союзники, так как иначе он столь же мало мог бы оставаться незамеченным в Зигхартсгофе, сколь и прокрасться в наш дом. Мне непонятно, как удалось принцу выскользнуть из дому, не встретив меня и освещавшего мне дорогу Фридриха. Старого Георга мы нашли неестественно глубоко спящим; но где же Нанни?

– Горе мне, – пролепетала Юлия, – горе мне, что она сказалась больной и мне пришлось ее отослать!

– Наверное, я смогу ее вылечить, – сказала советница и быстро распахнула двери соседней комнаты. Там стояла больная Нанни, совершенно одетая; она подслушивала и теперь в страхе и ужасе упала в ноги Бенцон.

Нескольких вопросов было для советницы достаточно, чтобы узнать, что принц с помощью старого, слывшего таким верным кастеляна...

*(М. пр.)* ...должен был я узнать! Муций, мой верный друг, мой сердечный брат, вследствие тяжелого ранения задней ноги испустил дух. Ужасное известие поразило меня жестоко; лишь теперь я ощутил, чем был для меня Муций. Пуф сообщил, что на следующую ночь в погребе дома, где жил мой хозяин и куда принесли тело, должны были справлять поминки. Я обещал не только быть в надлежащее время, но и позаботиться о яствах и напитках, дабы обряд свершился согласно старым благородным обычаям. Я и впрямь позаботился обо всем этом, весь день снося вниз мои обильные припасы рыбы, куриных косточек и зелени.

Для читателей, имеющих охоту до наиточнейших объяснений и посему желающих узнать, что предпринял я, дабы доставить напитки вниз, я замечу: в этом без всяких моих стараний пособила мне одна приветливая служанка. С этой служанкой я часто встречался в погребе, а также имел обыкновение посещать ее на кухне, ибо она казалась весьма расположенной к представителям моего рода и особенно ко мне, отчего мы, как только встречались, играли в самые приятные игры. Она подносила мне различные кусочки, бывшие в сущности хуже, нежели те, что получал я от хозяина, – однако я поглощал их единственно из галантности, показывая вид, будто они мне чрезвычайно пришлись по вкусу. Это весьма трогало сердце служанки, и она делала то, на что, в сущности, я метил. Иными словами, я вскакивал к ней на колени, и она так неподражаемо чесала мне голову и за ушами, что я утопал в неге и блаженстве, и весьма привык к руке, что «в будни веником метет, а в праздник лучше всех обнимет и прижмет». К этой приветливой особе и обратился я, когда она выносила из погреба большой горшок чудного молока, и выказал ей самым понятным образом свое живейшее желание удержать молоко для себя.

– Глупый Мурр, – сказала девица, которой столь же отлично было известно мое имя, как и прочим обитателям дома и даже всем соседствовавшим с нами. – Ты, разумеется, просишь молока не для себя одного, ты хочешь попотчевать друзей. Ладно, забирай молоко, серенькая шкурка! А я уж наверху достану другого. – С этими словами она поставила горшок на землю, немного погладила меня по спине, причем я изящнейшим кувырканьем выказал ей свою радость и благодарность, и поднялась по лестнице из погреба наверх. Заметь себе при сем, о юный кот, что знакомство, вернее, некоторого рода сентиментально-задушевные сношения с приветливой кухаркой для молодых людей нашего рода и положенья столь же приятны, сколь и полезны.

В полночь я направился в погреб. Горестное, душераздирающее зрелище! Тело дорогого и столь любимого друга лежало посредине на катафалке, состоявшем, конечно, соответственно неизменной скромности покойного, лишь из пучка соломы. Все коты уже собрались. Не в силах произнести ни слова, мы пожали друг другу лапы и расселись вкруг катафалка. Затем прозвучала жалобная песня, ее пронзающие сердце звуки грозно раздавались под сводами погреба. То был безутешнейший, ужаснейший скорбный плач, неслыханный вовеки, – никакое человеческое горло не смогло б его произвести.

После того как песнопенье закончилось, из круга выступил красивый, благопристойно одетый в белое и черное юноша, стал у изголовья гроба и произнес нижеследующую надгробную речь, переданную им потом в письменном виде мне, хотя он произносил ее в порыве вдохновенья без всяких записок.

###### ТРАУРНАЯ РЕЧЬ

###### над гробом безвременно усопшего кота Муция, кандидата философии и истории, произнесенная его верным другом и братом котом Гинцманом, кандидатом поэзии и красноречия

*Дорогие, во печали собравшиеся братья!*

*Отважные, великодушные бурши!*

Что есть кот? Нечто бренное, преходящее, как и все, рожденное на земле! Ежели достоверно, как утверждают знаменитейшие врачи и физиологи, что смерть есть преимущественно полное прекращение дыхания, о, тогда наш честный друг, наш отважный брат, наш верный храбрый товарищ в беде и в радости, о, тогда наш благородный Муций воистину мертв. Зрите, вот лежит он, благородный муж, распростершись на хладной соломе. Даже легчайший вздох не сорвется с навеки умолкнувших уст. Смежены очи, сиявшие прежде злато-зеленым блистанием то нежного пламени любви, то сокрушительного гнева; смертная бледность оледенила лик; бессильно свисли уши, повис и хвост. О брат Муций, где ж теперь твои веселые прыжки? Где ж твоя резвость, твоя жизнерадостность, твое звонкое радостное «мяу», увеселявшее все сердца, твое мужество, твоя стойкость, твой ум и твои шутки? Все, все похитила злая смерть! И ныне тебе и самому неясно, существовал ли ты когда или нет? А меж тем ты был олицетворением здоровья и силы, не знал телесных страданий – мнилось: тебе суждено жить вечно! Ни единое колесико твоего внутреннего механизма не было даже повреждено! Ангел смерти не размахнулся мечом своим над твоей главой, как ежели бы механизм вдруг стал и вновь завести его было бы уже невозможно; нет, враждебное начало насильственно вторглось в твой организм и злодейски разрушило то, что процветало б еще долго. Да, еще не раз сияли б очи, еще не раз звучали б шутки и радостные песни из этих уст, из этой охладелой груди; еще не раз кольцами извивался б этот хвост, возвещая душевную крепость; еще не раз доказали бы эти могучие лапы свою силу, свое искусство отважнейшими прыжками. А ныне? О, могла ль природа дозволить безвременно разрушить сотворенное ею в столь тяжких трудах на долгие времена? Или и впрямь есть некий темный дух, именуемый случаем, со злодейской, деспотической необуздан-ностию нарушающий те соразмерные вечным началам природы ритмические колебания, кои, по-видимому, суть условия всяческого бытия? О ты, опочивший, если б ты мог поведать об этом скорбящему здесь, но живому собранию! Однако, дорогие присутствующие отважные собратья, дозвольте мне не входить в столь глубокомысленные соображения, а предаться сетованиям о столь преждевременно утраченном друге Муции!

У надгробных проповедников есть обыкновение представлять присутствующим полное жизнеописание усопшего с превозносительными добавлениями и замечаниями, и это обыкновение весьма похвально, ибо оно навевает на самого опечаленного слушателя скуку и отвращение; а как явствует из опыта и свидетельств испытаннейших психологов, скука наилучшим образом разрушает всякую печаль, и таким образом надгробный проповедник сразу исполняет обе свои обязанности: воздает должную хвалу усопшему и утешает покинутых им. Тому немало примеров, и неудивительно, что самые удрученные скорбью уходят домой довольные и веселые, ибо, радуясь избавленью от мук надгробной речи, они легко переносят утрату отошедшего в лучший мир. Дорогие собравшиеся здесь братья, сколь охотно последовал бы я достохвальному, испытанному обыкновению, сколь охотно представил бы и я вам полное, обстоятельное жизнеописание опочившего друга и брата и обратил бы вас из котов опечаленных в котов довольных, но это невозможно, это поистине невозможно. Внемлите, дорогие возлюбленные братья, когда я говорю вам, что о самой жизни усопшего, о рождении, воспитании и дальнейшей его карьере я не знаю почти ничего, посему я мог бы преподносить вам лишь побасенки, неподобающие серьезности сего места, у тела опочившего, и торжественности нашего расположения духа. Не обессудьте, братья! Вместо этой длинной, скучной болтовни я хочу просто сказать в нескольких словах, как скверно кончил этот бедняга, который лежит здесь пред нами окоченелый и мертвый, и каким честным славным парнем был он при жизни! Но, о небо, я сбился с тона и правил красноречия, хотя я и кандидат этой науки, и надеюсь, если судьбе будет угодно, сделаться professor poeseos et eloquentiae! [[53]](#footnote-52)

(Гинцман умолк, почистил правой лапкой уши, лоб, нос и усы, долго созерцал недоуменным взглядом тело, откашлялся, снова провел лапкой по лицу и, повысив голос, продолжал.)

О горький рок, о злая смерть! Зачем столь жестоко настигла ты в цвете лет усопшего юношу? Братья, каждый оратор обязан до тошноты повторять своим слушателям то, что им уже давно известно, посему и я говорю, что, как всем вам известно, брат, отошедший в мир иной, пал жертвой яростной ненависти шпицев-филистеров. Туда, на ту крышу, где прежде увеселялись мы, где царили мир и радость, где звонкие песни оглашали окрестность, где лапа об лапу и сердце к сердцу мы составляли единое целое, туда хотел он пробраться, дабы в тихом уединении отметить со старостой Пуфом память этих прекрасных дней – истинно золотых дней Аранхуэца, ныне уже миновавших; но шпицы-филистеры, кои преследуют все попытки возродить наш веселый кошачий союз, поставили капканы в темном углу чердака; в один из них и попался злосчастный Муций, размозжил себе заднюю ногу и – должен был умереть! Болезненны и опасны раны, наносимые филистерами, ибо филистеры пользуются всегда оружием тупым и зазубренным. Но, сильный и могучий по природе своей, наш друг, отошедший в лучший мир, мог бы невзирая на опасные раны подняться исцеленным; однако сознавать свое поражение, нанесенное презренными шпицами, видеть себя поверженным во прах на самой вершине блистательного поприща, постоянно помышлять о позоре, всеми нами испытанном, – оказалось не под силу навсегда ушедшему, и глубокая, невыносимая скорбь сокрушила его. Он отверг все необходимые перевязки, отверг лекарства, – говорят, он умереть хотел!

(Я, все мы при этих последних словах Гинцмана ощутили горестную боль и разразились такими жалобными воплями и криками, что скалы и те б смягчились. Когда мы несколько успокоились и могли слушать, Гинцман с пафосом продолжал.)

О Муций, обрати свой взор на нас, здесь стоящих, на слезы, проливаемые нами по тебе, усопший кот, услышь безутешные стенания по тебе, нами возносимые! Да! Взгляни на нас сверху или снизу, как тебе ныне удобнее, да пребудет дух твой меж нас, ежели только ты еще им располагаешь, ежели то, что обитало внутри тебя, не использовано в ином месте! Братья, как я уже сказал, я придержу язык насчет биографии покойного, так как я ничего о ней не знаю, но тем живее в моей памяти его превосходные качества, и я хочу, о возлюбленные братья мои, сунуть их вам под нос, дабы вы восчувствовали в полной мере ужасную утрату, кою вы претерпели со смертью дивного кота! Внемлите вы, о юноши, намеренные никогда не сворачивать со стези добродетели! Внемлите! Муций был – как, увы, лишь немногие в этой жизни – достойный член кошачьего общества! Добрый и верный супруг, превосходный любящий отец, ревностный поборник правды и справедливости, неутомимый благодетель, опора бедных, верный друг в нужде.

Достойный член кошачьего общества? – Да! Ибо он всегда выказывал наилучший образ мыслей и был даже готов понести некоторые жертвы, если все отвечало его желаниям, а враждовал единственно лишь с теми, кто ему перечил и не покорялся его воле. Добрый и верный супруг? – Да! Ибо он устремлялся за другими кошками лишь тогда, когда они были красивее и моложе его супруги и когда его увлекало к тому непреодолимое желание. Превосходный, любящий отец? – Да! Ибо никогда не было слыхано, чтобы он имел обыкновение, подобно грубым бессердечным отцам нашего рода, когда на них нападает особый аппетит, закусывать кем-либо из своих малюток – напротив, он рад был, что мать уносила их всех с собою и он более ничего не знал о том, где они обретаются.

Ревностный поборник правды и справедливости? – Да! Ибо он жизнь свою положил бы за них, но оттого, что жизнь дана нам лишь однажды, он не слишком о них пекся, а стало быть, нельзя и пенять на него. Неутомимый благодетель, опора бедных? – Да! Ибо из года в год он в канун Нового года выносил во двор бедным братьям, нуждающимся в пропитании, селедочный хвостик или несколько тонких косточек, и, свершив этим свой долг, как достойный друг кошачества, он справедливо рычал на тех нуждающихся котов, которые домогались от него еще чего-то. Верный друг в нужде? – Да! Ибо, впав в нужду, он не отвергал тех из своих друзей, которых до этого оставлял в небрежении или вовсе забывал об их существовании.

Усопший брат наш! Что сказать мне о твоей доблести, о твоем высоком, светлом чувстве ко всему прекрасному и благородному, о твоей учености, о твоем художественном вкусе, о тысячах добродетелей, в тебе сочетавшихся? Что скажу я, что сказать мне об этом, не усилив тем многократно нашу справедливую скорбь о твоем горестном сошествии в иной мир? Друзья мои, растроганные братья! – ибо мне удалось, к немалому моему удовольствию, заставить вас то и дело трогаться с мест, как я замечаю по вашим недвусмысленным движениям, – итак, растроганные братья, возьмем в образец опочившего, дабы идти вослед его достойным стопам! Уподобимся в совершенстве покойному, и мы также обретем во смерти покой истинно мудрого, воссиявшего всеми добродетелями кота, подобно усопшему.

Зрите ж, сколь мирно покоится он, не шевеля даже лапой, сколь бессильна моя хвала его совершенствам вызвать у него хотя б малейшую улыбку удовольствия! Однако смею заверить вас, скорбящие братья, что и горчайшее порицание, злейшие, оскорбительнейшие поношения одинаковым образом не возмутили б сон опочившего; даже сам дьявольский шпиц-филистер, коему он прежде незамедлительно выдрал бы оба ока, мог бы вступить в этот круг, нимало не приведя его во гнев, не потревожив его кроткого, сладостного покоя.

Превыше похвал и порицаний, превыше всяческой вражды, всяческих насмешек, всяческих лукавых глумлений и поношений, превыше превратной суеты житейской вознесся ныне наш дивный Муций; нет у него более для друга ни приятной улыбки, ни пламенного объятия, ни честного пожатия лапы, но зато нет и когтей, нет и зубов для врага. Своими добродетелями он достиг в смерти покоя, коего тщетно алкал в жизни. Однако сдается мне, что все мы здесь сидящие и завывающие о друге найдем покой, не превращаясь в подобный ему образец всех добродетелей, и что, конечно, есть иное побуждение к совершенствованию, чем стремление к покою смерти. Но это только предположение, которое я предоставляю вам для дальнейшей обработки.

Только что я вознамерился вселить в вас мысль о том, чтобы вы всю вашу жизнь посвятили главным образом тому, как научиться столь же прекрасно испустить дух, как друг Муций; но, пожалуй, я этого не сделаю, ибо вы можете противопоставить мне разные сомнения. А именно, я полагаю, вы можете мне возразить, что покойному тоже нужно было бы научиться быть осторожным и избегать капканов, дабы не умереть преждевременно. И потом, я вспоминаю, как один весьма юный котенок-школьник на увещание учителя, что кот должен употребить всю свою жизнь на то, чтобы научиться умереть, довольно дерзко возразил, что это не может быть слишком трудным делом, ибо оно каждому удается с первого раза! Посвятим же теперь, о горестные юноши, несколько мгновений тихому созерцанию!

(Гинцман умолк и опять провел правой лапой по ушам и лицу; потом он, плотно зажмурив глаза, вероятно, погрузился в глубокие размышления. Наконец, когда это слишком затянулось, староста Пуф толкнул его и прошептал: «Гинцман, не иначе как ты заснул? Сделай милость, кончай свою речь! Ведь мы все чертовски проголодались!» Гинцман поднялся, снова стал в изящную ораторскую позу и продолжал.)

Дорогие мои братья! Я надеялся извлечь еще несколько возвышенных мыслей и блестяще закончить свою торжественную речь; но мне ничего не приходит в голову. Я думаю, что от сильной скорби, которую я силился ощутить, я несколько отупел. Позвольте поэтому считать мою речь, которой вы не сможете отказать в полнейшем одобрении, законченной. Теперь же споем наше обычное «De – или Ех profundis» [[54]](#footnote-53).

Так закончил благовоспитанный юноша свою надгробную речь; хотя она показалась мне в риторическом смысле весьма гладкой и впечатляющей, все же многое в ней я нашел излишним. Мне показалось, что Гинцман старался скорее выказать свой блистательный ораторский талант, чем воздать честь бедному Муцию после его печальной кончины. Все, что он говорил, совсем не подходило к другу Муцию, простому, бесхитростному, честному коту с душой доброй и верной, как я имел случай убедиться. Кроме того, воздаваемые Гинцманом похвалы были весьма двусмысленны, и оттого, собственно, речь после ее произнесения мне не понравилась, но, пока оратор говорил, меня подкупали его изящество и его бесспорно выразительная декламация. Староста Пуф, казалось, был того же мнения; мы обменялись взглядами, в которых сквозило согласие относительно речи Гинцмана.

Как повелевало заключение речи, мы запели «De profundis», звучавшее, если возможно, еще более горестно и душераздирающе, чем ужасная погребальная песнь перед речью. Известно, что певцы нашего рода превосходно владеют могучими выражениями глубочайшей скорби и безнадежнейшего горя, будь ли то жалобы страстно тоскующей или поруганной любви или сетования о дорогом умершем; даже холодное и бесчувственное существо – человек бывает глубоко потрясен этим пением и облегчает свою стесненную душу только крепким проклятием. Когда «De profundis» окончилось, мы подняли тело покойного кота и опустили в глубокую могилу, вырытую в углу погреба.

Но в это мгновение случилось нечто самое неожиданное и самое трогательное во всей похоронной церемонии. Три кошечки-девушки, прекрасные как день, подбежали к открытой могиле и стали бросать в нее картофельную и петрушечную ботву, а четвертая, старшая, исполняла при этом простую и сердечную песню. Мелодия была мне известна; если не ошибаюсь, текст песни, откуда был взят мотив, начинается словами «О елочка, о елочка!» и т. д. Это были, как мне шепнул на ухо староста Пуф, дочери умершего Муция, справлявшие таким образом поминки по своему отцу.

Я не мог отвести глаз от певицы. Она была прелестна; звук ее сладостного голоса, трогательная глубоко чувствительная мелодия траурной песни увлекли меня совершенно. Я не мог сдержать слез. Однако скорбь, которую исторгла песнь у меня, была скорбь совсем особая, странная, ибо она даровала мне сладчайшую отраду.

Прямо скажу – все мое сердце рвалось к певице. Мне казалось, никогда не видел я молодой кошки столь грациозной, со столь благородной осанкой и взором, короче, столь неодолимой красоты.

Четыре дюжих кота наскребли когтями как можно бельцу песку и земли и с трудом засыпали могилу; церемония закончилась, и мы поспешили к столу. Прекрасные, грациозные дочери Муция хотели удалиться. Но мы не допустили этого; напротив, им пришлось участвовать в поминальной трапезе, и я оказался столь ловок, что повел прекраснейшую к столу и уселся бок о бок с ней. Если ранее меня ослепила ее красота, очаровал ее сладостный голос, то теперь ее светлый, ясный разум, ее искренность, нежность чувств, ее душа, источавшая сияние чистой, скромной женственности, вознесли меня на небеса высочайшего восторга. В ее устах, в ее сладостных речах все облекалось особой волшебной прелестью; ее разговор был грациозной, нежной идиллией. Так, например, она с жаром рассказывала о молочной каше, которую она вкушала за несколько дней до смерти отца, и когда я вставил, что у моего хозяина приготовляют эту кашу отлично, заправляя ее как следует маслом, она посмотрела на меня своими скромными глазами голубки, излучавшими зеленые стрелы, и спросила тоном, потрясшим мне сердце:

– О сударь, наверное... наверное, вы очень любите молочную кашу? С маслом! – повторила она немного спустя, как бы погружаясь в мечтательные грезы.

Кто не знает, что красивых, цветущих девушек семи или восьми месяцев от роду – а прекраснейшей, вероятно, столько и было – ничто так не украшает, как легкий оттенок мечтательности, вернее, эта мечтательность часто совершенно неотразима. Должно быть, поэтому так и получилось, что, воспламененный любовью, я пылко сжал лапку прелестнейшей и громко воскликнул:

– Ангельское дитя, завтракай со мной молочной кашей, и я не променяю своего счастья ни на какое блаженство в мире!

Она казалась смущенной и, краснея, опустила глазки долу, но оставила свою лапку в моей, что возбудило во мне прекраснейшие надежды. Я однажды слышал, как гость моего хозяина, уже пожилой господин, если не ошибаюсь, адвокат, говорил, что для молоденькой девушки очень опасно долго оставлять свою руку в руке мужчины, потому что он по праву может принять это за traditio brevi manu [[55]](#footnote-54) и основать на этом всяческие притязания, которые потом нелегко отклонить. У меня была великая охота к подобным притязаниям, и я собрался было предъявить их, но наш разговор был прерван возлиянием в честь покойного.

Меж тем три младших дочери покойного Муция вызвали восхищение всех котов своим веселым нравом и игривой наивностью. Яства и напитки уже заметно уменьшили боль и скорбь, общество становилось все веселее и оживленнее. Шутили, смеялись, и, когда убрали со стола, строгий староста Пуф предложил немного потанцевать. Мигом было расчищено место, три кота настроили свои голоса, и вскоре воскресшие к жизни дочери Муция лихо запрыгали и завертелись с юношами.

Я ни на шаг не отходил от прекраснейшей; я пригласил ее на танец, она подала мне лапку – мы понеслись в рядах танцующих. Ее дыхание касалось моей щеки, моя грудь трепетала, прикасаясь к ее груди, я крепко обнял ее очаровательный стан! Ах, блаженные, небесно блаженные мгновенья!

Когда мы станцевали два-три тура, я отвел прекраснейшую в угол погреба и, как велит галантный обычай, угостил ее всеми прохладительными напитками, какие только можно было достать, ибо собрание, собственно, было затеяно не для танцев. Теперь я дал волю своим чувствам. Я то и дело прижимал ее лапку к моим губам и уверял ее, что я был бы счастливейшим из смертных, если бы она захотела хоть чуточку полюбить меня.

– Несчастный! – раздался вдруг голос за самой моей спиной. – Несчастный, на что посягаешь ты? Ведь это дочь твоя, Мина!

Я затрепетал, ибо сразу понял, чей это голос, – то была Мисмис!

Как причудливо играл со мною случай; в тот миг, когда, казалось, я вовсе позабыл о Мисмис, мне открыли, что я воспылал любовью к моей собственной дочери, чего я не мог и предчувствовать! Мисмис была в глубоком трауре; я не знал, что мне обо всем этом и думать.

– Мисмис, – спросил я нежно, – что привело вас сюда? Почему вы в трауре? И – о боже! – эти девушки – сестры Мины?

Тогда я узнал нечто необычайное: мой ненавистный, черно-серо-желтый соперник, побежденный в том смертельном поединке благодаря моей рыцарской доблести, немедленно оставил Мисмис и скрылся неведомо куда. Тогда Муций попросил ее руки, и она ему охотно отдала ее; совершенное умолчание Муция об этом обстоятельстве делало ему честь и доказывало нежность его чувств; итак, те веселые наивные кошечки приходились Мине только сводными сестрами.

– О Мурр, – нежно воскликнула Мисмис, рассказав мне обо всем случившемся. – О Мурр, ваше дивное сердце ошиблось только в чувстве, переполнившем его. Любовь нежнейшего отца, а не страстного любовника пробудилась в нем, когда вы увидели нашу Мину. Нашу Мину! О, сколь сладостное слово! Мурр, можете ли вы, услышав его, оставаться бесчувственным? Неужто в вашей душе погасла вся любовь к той, которая так сердечно вас любила и – о небо! – любит вас и сейчас, ибо она осталась бы верной вам до самой смерти, если б не вмешался другой и не совратил бы ее своим гнусным искусством обольщения? О слабость, твое имя Кошка! Так думаете вы – я знаю, – но разве не в том добродетель Кота, чтобы прощать слабую Кошку? Мурр, вы видите меня согбенной, безутешной от потери третьего нежного супруга; но в этой безутешности снова вспыхивает во мне любовь, что была прежде моим счастьем, моей гордостью, моей жизнью! Мурр, услышьте мое признанье: я все еще люблю вас, и я думала снова с вами повенча... – Слезы сдавили ей горло.

Вся эта сцена была для меня весьма мучительна. Мина сидела неподалеку, бледна и прекрасна, как первый снег, порой целующий осенью последние цветы и тотчас тающий горькой водою.

(*Примечание издателя* : Мурр! Мурр! Уже опять плагиат! В «Чудесной истории Петера Шлемиля» герой книги описывает свою возлюбленную, по имени тоже Мина, теми же словами.)

Молча рассматривал я их обеих, мать и дочь; дочь нравилась мне бесконечно более, и так как у нашего рода ближайшие родственные отношения никаких законных препятствий к браку не... Меня выдал, вероятно, мой взор, ибо Мисмис, казалось, отгадала мои сокровеннейшие мысли.

– Варвар! На что замышляешь ты посягнуть? – воскликнула она и, быстро подпрыгнув к Мине, пылко ее обняла и привлекла к себе на грудь. – Как? Ты не страшишься обесчестить это любящее тебя сердце и совершать одно преступление за другим?

Хоть я и не очень-то понял, какие претензии ко мне были у Мисмис и в каких преступлениях она могла меня упрекнуть, но все же счел за лучшее сделать хорошую мину при плохой игре, дабы не расстраивать ликование, которым завершились поминки. Посему я уверил бывшую совершенно вне себя Мисмис, что единственно неизреченное сходство Мины с нею ввело меня в заблуждение, и я полагаю, что мою душу воспламенило то самое чувство, которое я берег для нее, для все еще прекрасной Мисмис. Она вскоре осушила свои слезы, уселась рядом со мной и завела такой непринужденно-доверчивый разговор, как будто между нами никогда не было никаких раздоров. Вдобавок юный Гинцман пригласил прекрасную Мину на танец, так что можно вообразить, в каком неприятном, мучительном положении я находился.

К счастью для меня, старшина Пуф увел Мисмис на заключительный танец, ибо иначе мне пришлось бы выслушивать еще бог весть какие странные предложения. Я тихо-тихо выкрался из погреба наверх и подумал: «Утро вечера мудренее».

В этих поминках я усматриваю поворотный пункт, заключивший мои месяцы ученья; отныне я вступил в другой круг жизни.

*(Мак. л.)* ...заставило Крейслера спозаранку отправиться в покои аббата. Он застал достопочтенного отца как раз, когда тот с топором и долотом в руке занимался расколачиванием большого ящика, где, судя по его форме, вероятно, была запакована картина.

– А! – воскликнул аббат навстречу входящему Крейслеру. – Хорошо, что вы пришли, капельмейстер! Вы сможете помочь мне в этой трудной работе. Ящик забит таким множеством гвоздей, как будто его заколачивали навечно. Он прислан прямо из Неаполя, и в нем есть картина, которую я хочу пока повесить в моем кабинете и не показывать братьям. Поэтому я никого не хотел звать на помощь; но вам теперь придется мне помочь, капельмейстер!

Крейслер принялся за дело, и немного погодя прекрасная большая картина в великолепной позолоченной раме была вызволена из ящика. К удивлению капельмейстера, место над маленьким алтарем в кабинете аббата, где раньше висела прелестная картина Леонардо да Винчи, изображавшая святое семейство, теперь пустовало. Аббат считал это полотно одним из лучших в его богатом собрании оригиналов старых мастеров, и все же это мастерское произведение должно было уступить место новой картине; Крейслер с первого взгляда признал ее замечательную красоту, его поразила ее новизна.

С большим трудом аббат и Крейслер укрепили картину при помощи больших винтов на стене, после чего святой отец отошел подальше, чтобы удобней было смотреть на полотно, и стал разглядывать его с таким сердечным удовольствием, с такой видимой радостью, что казалось, будто, помимо и впрямь достойной удивления живописи, тут есть еще какой-то особый интерес. Темой картины было чудо. Окруженная небесным сиянием Святая Дева в левой руке держала лилию; а указательным и средним пальцами правой руки прикасалась к обнаженной груди какого-то юноши, и было видно, как из открытой раны под ее пальцами густыми каплями выступает кровь. Юноша приподнялся с ложа, на котором он был распростерт, – казалось, он пробудился от смертного сна. Глаза его еще были закрыты, но просветленная улыбка на прекрасном лице показывала, что он видит Божью матерь в блаженном сне, она унимает боль его ран, и смерть утрачивает над ним свою власть. Каждый знаток подивился бы правильности рисунка, искусному расположению группы, верному распределению света и тени, великолепно написанным одеждам, высокой прелести облика Марии, а особенно жизненности красок, большей частью не дающейся новейшим художникам. Однако ярче и поразительнее всего истинный гений художника открывался в непередаваемом выражении лиц. Мария была самой прекрасной и привлекательной женщиной, какую только можно было представить, и все же ее высокий лоб был озарен властным небесным величием, ее темные глаза сияли мягким блеском неземной благости. Небесный экстаз пробуждающегося к жизни юноши также был схвачен художником с редкой силой творческого духа. Крейслер и впрямь не знал ни одного произведения новейшего времени, которое можно было бы поставить рядом с этой дивной живописью. Он высказал свои мысли аббату, подробно распространяясь об отдельных красотах полотна, и потом добавил, что едва ли художники новейшего времени произвели что-нибудь более совершенное.

– На это есть веские основания, капельмейстер, – сказал аббат улыбаясь. – И какие – вы сейчас узнаете. Странная вещь получается с нашими молодыми художниками. Они учатся и учатся, изобретают, рисуют, делают громадные картоны, а в конце концов выходит нечто мертвое, застывшее, не способное вторгнуться в жизнь, ибо оно само безжизненно. Вместо того чтобы тщательно копировать творения великого мастера, избранного ими себе в пример и образец, и таким путем проникать в его самобытный дух, наши молодые художники хотят сами мигом сделаться мастерами и писать точь-в-точь, как он, но от этого только впадают в мелочную подражательность, выставляющую их в столь же смешном и ребячливом виде, что и тех людей, которые, желая уподобиться великому человеку, стараются, как он, откашливаться, картавить и ходить ссутулясь. Нашим молодым художникам недостает истинного вдохновения, только оно одно способно вызвать картину из глубины души и открыть ее взору художника во всем блеске и всей полноте жизни. Сколько из них тщетно мучатся, чтобы обрести то возвышенное расположение духа, без которого не создается ни единое творение искусства. Однако то, что бедняги считают истинным вдохновением, возвышавшим ясный и спокойный дух старых мастеров, – есть лишь странная смесь высокомерного восхищения своими собственными замыслами и боязливой, мучительной заботы: а как бы не отклониться в исполнении от старых образцов даже в ничтожнейших мелочах. Вот и получается, что образ, сам по себе живой, которому жить бы и жить светлой радостной жизнью, превращается в отвратительную гримасу. Молодые наши художники не в силах довести возникшие в их душе образы до ясной выразительности. Быть может, это происходит оттого, что при всем своем умении они все же слабы в красках? Словом, в лучшем случае они рисовальщики, но никак не живописцы. Неправда, будто знание красок и обращения с ними навеки утрачено и будто молодым художникам недостает прилежания. Что касается первого, то это немыслимо, ибо искусство живописи с начала христианства, когда оно впервые стало подлинным искусством, никогда не покоилось на месте – напротив: от мастера к ученику, от ученика к мастеру образуется непрерывный движущийся ряд, и хотя это движение мало-помалу привело к отклонеттиям от истинного искусства, оно никак не могло повлиять на передачу технического умения. А что до прилежания, то наших художников можно упрекнуть скорее в его избытке, нежели в недостатке. Я знаю одного молодого художника, который, когда картина у него уже начинает получаться, до тех пор переписывает ее и переписывает, покуда все не исчезает в тусклом свинцовом тоне, и, быть может, только тогда она отвечает его внутренним замыслам, ибо образы его не в силах обрести полноты живой жизни.

Взгляните сюда, капельмейстер, вот картина, дышащая истинной дивной жизнью, ибо ее создало истинное благочестивое вдохновение. Само чудо вам ясно. Юноша, приподнявшийся на ложе, брошен убийцами совершенно беспомощным, обречен на смерть, и теперь он, прежде безбожник, в адском безумии презиравший заповеди церкви, – теперь он громко взмолился Пресвятой Деве о помощи, и небесная богоматерь соблаговолила спасти его от смерти для того, чтобы он еще жил, узрел свои заблуждения и посвятил бы себя с благочестивой преданностью служению церкви. Этот юноша, кому посланница небес даровала столь великую милость, и есть художник, создавший картину.

Крейслер высказал аббату свое немалое удивление и заключил, что чудо, должно быть, произошло в новейшие времена.

– И вы, – заметил кротко и ласково аббат, – и вы, дорогой мой Иоганнес, также придерживаетесь безрассудного мнения, будто врата небесной милости ныне закрыты, будто сострадание и милосердие в образе святого, к кому отчаянно взывает угнетенный человек в великом страхе перед погибелью, более не странствуют по земле, дабы явиться страждущему и принести ему мир и утешение? Поверьте мне, Иоганнес, никогда не прекращались чудеса; но человеческое око ослеплено греховным безбожием; оно не может выдержать неземного сияния небес, и оттого ему недоступно познание небесной благодати, когда она возвещает о себе видимым знамением. И все же, дорогой мой Иоганнес, самые дивные божественные чудеса случаются в сокровенной глубине человеческой души, и об этих чудесах всеми силами своими и должен возвещать человек словом, звуком и красками. Об этом-то и возвестил дивно монах, написавший это полотно, возвестил о чуде своего обращения, и именно так – Иоганнес, я говорю о вас, и это вырывается у меня из самого сердца, – именно так возвещаете вы из сокровенных глубин вашей души могучими звуками о дивном чуде познания вечного, чистейшего света. И то, что вы в силах это сделать, разве не есть благостное чудо, явленное предвечным для вашего спасения?

Крейслер почувствовал себя странно взволнованным словами аббата и – что редко с ним бывало – проникся полной верой в свою внутреннюю творческую силу; чувство блаженной отрады охватило его.

Меж тем он не мог отвести взгляда от чудесной картины, и, как это часто бывает, особенно в таких случаях, когда, увлеченные сильными световыми эффектами переднего или среднего плана, мы только потом открываем фигуры на темном заднем плане, Крейслер лишь теперь заметил фигуру человека в широком плаще, убегавшего через двери. Один из лучей сияния, окружавшего небесную царицу, падал на кинжал в руке человека и тем самым как бы изобличал в нем убийцу. Лицо его, повернутое к зрителю, было искажено выражением беспредельного ужаса.

Крейслера будто молния поразила: в облике убийцы он узнал черты принца Гектора; ему показалось, что и пробуждающегося к жизни юношу он уже где-то видел, хотя и очень мимолетно. Какой-то ему самому непонятный страх удержал его, и он ничего не сказал об этом аббату; но все же спросил его, не считает ли он неподходящим и нарушающим эффект то, что художник расположил на заднем плане, хотя и в тени, предметы современного обихода и, как только теперь он заметил, одел пробуждающегося юношу, то есть самого себя, в современное платье.

Действительно, на заднем плане картины, сбоку, стоял маленький стол и рядом с ним стул, на спинке стула висела турецкая шаль, а на столе лежала офицерская шляпа с султаном и сабля. На юноше была современная сорочка с воротником, расстегнутый сверху донизу жилет и темный, тоже совсем расстегнутый сюртук, своеобразный покрой которого позволял ему ложиться мягкими складками. Небесная царица была одета как обычно на картинах лучших старых мастеров.

– Меня, – ответил аббат на вопрос Крейслера, – меня нисколько не возмущает стаффаж на заднем плане, так же как и сюртук юноши, – напротив, я полагаю, что если бы художник, хотя бы в ничтожнейших мелочах, отклонился от истины, им владела бы не благость небесная, а мирская суетность и безумство. Он должен был изобразить чудо так, как оно действительно свершилось, соблюдая верность месту, обстановке, одежде действующих лиц и так далее. Каждый видит из этого, что чудо совершилось в наши дни, и таким образом картина благочестивого монаха стала одним из прекраснейших трофеев победоносной церкви в наше время неверия и испорченности.

– И все-таки, – сказал Крейслер, – эта сабля, эта шаль, этот стол и стул мне не по душе, и я хотел бы, чтобы художник убрал этот стаффаж с заднего плана и набросил бы на себя хитон вместо сюртука. Скажите сами, ваше высокопреподобие, могли бы вы представить себе священную историю в современных костюмах, святого Иосифа во фризовом сюртуке, спасителя во фраке, Деву Марию в платье со шлейфом и с турецкой шалью, накинутой на плечи? Не показалось бы вам все это недостойной, даже отвратительной профанацией чего-то самого возвышенного? И все же старые, особенно немецкие мастера изображали все библейские истории в костюмах своего времени, а было бы совершенно неверно утверждать, что те одежды больше подходили для живописного изображения, чем нынешние, которые, за исключением некоторых женских платьев, довольно нелепы и совсем неживописны. Ведь мода старых времен доходила, сказал бы я, до крайностей, до чудовищных преувеличений; стоит только вспомнить о туфлях с аршинными, загнутыми кверху носками, о раздувающихся шароварах, о разрезных камзолах и рукавах и так далее. А уж совершенно невыносимо обезображивали фигуры и лица многие женские наряды, которые можно видеть на старых картинах, где молодые цветущие девушки, писаные красавицы, единственно из-за наряда, выглядят старыми, угрюмыми матронами. Однако эти картины никого не отталкивали.

– Дорогой мой Иоганнес, – ответил аббат, – теперь мне будет легко в нескольких словах показать вам отличие старых набожных времен от испорченных нынешних. Видите ли, тогда истории Священного писания так проникли в человеческую жизнь, вернее, сказал бы я, жизнь так зависела от них, что всякий верил: чудесное совершается у него на глазах и всемогущее небо может во всякое время повелеть свершиться новому чуду. Таким образом, Священное писание, к коему обращал набожный художник свой духовный взор, представало перед ним жизнью вполне современной; он видел, как порою являлась небесная благодать меж людей, его окружавших, и он запечатлевал их на полотне такими, какими наблюдал в жизни. Для нынешних дней истории Священного писания – нечто весьма далекое, они как бы существуют сами по себе и, отрешенные от настоящего, сохраняют тусклую жизнь только в воспоминанье; тщетно стремится художник увидеть их в жизни, ибо – пусть он даже и не признается в этом себе самому – его дух осквернен суетой мирскою. Посему пошло и смеха достойно и когда порицают старых мастеров за незнание костюмов, в котором находят причину тому, что на своих картинах они представляли только наряды своего времени, и когда молодые художники стараются облечь святых в безрассуднейшие и противнейшие вкусу наряды Средневековья, показывая тем, что они не созерцали непосредственно в жизни события, которые замыслили изобразить, а удовольствовались их отражением на картинах старых мастеров. Именно потому, дорогой Иоганнес, что нынешнее время слишком осквернено и находится в омерзительном несоответствии со всеми этими благочестивыми преданиями, именно потому, что никому не под силу представить себе эти чудеса происходящими среди нас, – именно потому их изображение в наших нынешних костюмах казалось бы нам, разумеется, безвкусным, безобразным и даже богохульственным. Но ежели всемогущий соизволит, чтоб пред нашими очами и вправду свершилось чудо, то было б вовсе непозволительно переиначивать одежды нашего времени. Так же нынешним молодым художникам, ежели они хотят обрести почву под ногами, должно думать о том, чтобы, изображая давние события, соблюдать всю доступную им верность в одеждах тогдашней поры. Прав, повторяю я снова, прав творец этой картины, обозначая в ней приметы нынешнего времени, и как раз этот стаффаж, что вы, дорогой Иоганнес, нашли неподходящим, наполняет меня священным набожным трепетом, ибо я воображаю самого себя вступающим в тесные покои дома в Неаполе, где всего лишь несколько лет тому назад было сотворено чудо и этот юноша пробудился от вечного сна.

Слова святого отца натолкнули Крейслера на размышления: капельмейстер вынужден был признать во многом правоту аббата; и все же он полагал, что о высокой набожности старого времени и испорченности теперешнего аббат говорит уж слишком как монах, требующий знамений, чудес, озарений и действительно созерцающий их, тогда как благочестивое детское чувство, чуждое судорожному экстазу дурманящего культа, не нуждается в них, чтобы упражняться в истинно христианской добродетели; а эта-то добродетель ничуть не исчезла с земли. Если бы это и вправду случилось, то всемогущий, отказавшись от нас и предав нас полному произволу мрачного демона, не пожелал бы тогда никакими чудесами возвращать нас на правильный путь.

Но обо всех этих размышлениях Крейслер не поведал аббату и молча продолжал рассматривать картину. И чем внимательнее он глядел на нее, тем яснее выступали черты убийцы на заднем плане. Крейслер убедился, что живой оригинал картины был не кто иной, как принц Гектор.

– Мне кажется, ваше преподобие, – начал Крейслер, – там на заднем плане я вижу отважного вольного стрелка, он метит в благородную дичь, то есть в человека, и он травит его на разный манер. На сей раз он, как я вижу, взял в руки отличный, прекрасно отточенный стальной капкан и не промахнулся; но с огнестрельным оружием он явно не в ладах, потому что не так давно, устроив охоту на резвого оленя, он жестоко промазал. Право, мне очень хочется знать curriculum vitae [[56]](#footnote-55) этого решительного охотника или хотя б фрагменты его, могущие указать, где, собственно, мне надлежит быть, и не лучше ли мне прямо обратиться к Пресвятой Деве за охранной грамотой.

– Дайте только срок, капельмейстер! – сказал аббат. – Меня удивило бы, если бы в скором времени не разъяснилось многое, теперь еще скрытое за туманной завесой. Ваши желания, о которых я узнал только теперь, могут исполниться самым радостным образом. Странно – да, уж столько-то я могу вам сказать, – довольно странно, что в Зигхартсгофе так грубо ошибаются в вас. Маэстро Абрагам, вероятно, единственный, кто понял вашу душу.

– Маэстро Абрагам? – воскликнул Крейслер. – Вы знаете старика, ваше преподобие?

– Вы забыли, – ответил аббат улыбаясь, – что наш прекрасный орган своим новым эффектным устройством обязан искусству маэстро Абрагама. Но довольно об этом! Будем терпеливо ждать того, что принесет нам грядущее.

Крейслер распростился с аббатом; он устремился в парк, чтобы отдаться разным нахлынувшим на него мыслям; но когда он уже спускался с лестницы, он услышал, как кто-то его позвал: «Domine, domine Capellmeistere, paucis te volo!» [[57]](#footnote-56) Это был отец Гиларий, уверявший, что он с величайшим нетерпением ожидал конца долгого совещания Крейслера с аббатом. Он только что из погреба, где исполнял обязанности келаря и кстати раздобыл божественнейшего многолетнего вюрцбургского вина. Совершенно необходимо, чтоб Крейслер тотчас же осушил бокал за завтраком и убедился, что этот благородный напиток укрепляет дух и сердце, горит огнем в жилах и бесспорно создан для такого достойного композитора и превосходного музыканта, как Крейслер. Капельмейстер знал, что попытка ускользнуть от воодушевленного этой идеей отца Гилария была бы напрасной, и к тому же при охватившем его настроении он и сам был не прочь насладиться стаканом доброго вина. Поэтому он последовал за веселым келарем, приведшим его в свою келью, где на маленьком, покрытом чистой салфеткой столике Крейслера уже ожидала бутылка благородного напитка, свежий белый хлеб, соль и тмин.

– Ergo bibamus! – воскликнул отец Гиларий, налил вино в изящные зеленые бокалы и весело чокнулся с капельмейстером. – Не правда ли, – начал он, когда бокалы были осушены, – не правда ли, капельмейстер, его преподобие охотно околпачил бы вас монашеским клобуком? Не поддавайтесь, Крейслер! Мне в рясе неплохо, и я ни за что не хотел бы ее снять, однако distinguendum est inter et inter! Для меня добрый стакан вина да порядочное церковное пение – это все; но вы – вы! Ведь вы предназначены совсем для другого! Вам еще улыбается жизнь совсем по-иному; вам еще светят огни совсем другие, чем алтарные свечи! Ну, Крейслер, короче говоря, чокнемся! Vivat ваша милая, и когда вы устроите свадьбу, то как бы ни сердился аббат, а я вам пришлю лучшего вина, какое только есть в нашем богатом погребе!

Крейслер почувствовал себя неприятно задетым словами Гилария: нам всегда бывает больно, когда мы видим, как неуклюжие, грубые руки хватают что-нибудь снежно-чистое.

– Чего только вы не знаете, – сказал Крейслер, отдергивая свой бокал, – сидя тут в четырех стенах!

– Domine, domine Kreislere [[58]](#footnote-57), – воскликнул патер Гиларий, – не сердитесь! Video mysterium [[59]](#footnote-58); но я придержу язык. Вы не хотите выпить за вашу... Ладно, будем завтракать in camera et faciemus bonum cherubim [[60]](#footnote-59) и bibamus, чтобы господь сохранил у нас в аббатстве до сих пор царившие здесь покой и веселие!

– Разве они в опасности? – спросил Крейслер с любопытством.

– Domine, – зашептал Гиларий, доверчиво придвигаясь к Крейслеру, – domine dilectissime! [[61]](#footnote-60) Вы уже достаточно долго у нас и поэтому знаете, как дружно мы живем, как сливаются самые различные наклонности братьев в общей веселости, которой способствует вся обстановка, мягкость монастырских порядков, весь наш образ жизни. Это, наверно, продолжалось бы еще очень долго. Но – знайте, Крейслер! Только что прибыл долгожданный отец Киприан, настоятельно рекомендованный аббату Римом. Он еще молодой человек, но на его высохшем, неподвижном лице нельзя найти и следа веселости – напротив того, его мрачные, немые черты дышат неумолимой суровостью, обличающей в нем аскета, дошедшего до самых жестоких самобичеваний. При этом все его поведение говорит о враждебном пренебрежении ко всему окружающему, вероятно происходящем на самом деле от чувства духовного превосходства над всеми нами. Он уже справился в отрывистых словах о монастырской дисциплине, и, кажется, наш образ жизни сильно разгневал его. Вот увидите, Крейслер, этот пришелец перевернет вверх ногами все наши порядки, при которых нам было так хорошо! Вот увидите, nunc probo! [[62]](#footnote-61) Святоши быстро примкнут к нему, и вскоре образуется партия против аббата, которой, наверное, и достанется победа, так как я почти уверен, что отец Киприан – эмиссар его святейшества, перед которым аббат должен будет смириться. Крейслер, что станется с нашей музыкой, с вашей уютной жизнью у нас? Я говорил о нашем прекрасно слаженном хоре, о том, что мы уже можем хорошо исполнять творения величайших мастеров; но мрачный аскет скорчил ужасающую мину и заявил, что подобная музыка годна для суетного мира, а не для церкви, откуда папа Марцелл Второй справедливо хотел изгнать ее вовсе – per diem! Если нам запретят хор и закроют от меня винный погреб, то... Но пока – bibamus! He стоит загадывать вперед; ergo – бульк-бульк!

Крейслер заметил, что, возможно, новый пришелец кажется более строгим, чем он есть на самом деле, а он, Крейслер, со своей стороны, никак не может поверить, что аббат при его твердом характере так легко поддастся воле приезжего монаха, тем более что у него самого нет недостатка в связях с влиятельными лицами в Риме.

В это мгновение зазвонили колокола в знак того, что сейчас должен произойти торжественный прием приезжего брата Киприана в орден Святого Бенедикта.

Крейслер вместе с отцом Гиларием, выпившим остаток вина из своего бокала с почти боязливым bibendum quid, отправился в церковь. Из окна коридора, где они проходили, можно было видеть, что делалось в покоях аббата.

– Смотрите, смотрите! – воскликнул отец Гиларий, потащив Крейслера к окну.

Крейслер взглянул и увидел в покоях аббата какого-то монаха, с которым святой отец о чем-то говорил, и при этом лицо его заливал густой румянец. Наконец аббат стал на колени перед монахом, и тот благословил его.

– Разве я не был прав, – шепнул Гиларий, – когда говорил вам, что в этом приезжем монахе, который вдруг как снег на голову свалился в наше аббатство, есть что-то странное, особенное?

– Да, – ответил Крейслер, – с этим Киприаном что-то связано, и меня не удивит, если в самом скором времени тут обнаружатся кое-какие дела.

Отец Гиларий поспешил к братьям, дабы вместе со всей торжественной процессией – впереди крест, а по бокам послушники с зажженными свечами и хоругвями – отправиться в церковь.

Когда аббат с приезжим монахом проходил мимо Крейслера, тот с первого взгляда узнал в Киприане юношу, которого художник изобразил воскрешенным к жизни Святой Девой. Внезапно его осенила еще одна догадка. Он ринулся наверх в свою комнату, вытащил маленький портрет, подаренный ему маэстро Абрагамом, – да, он не ошибся! Это был тот самый юноша, только помоложе, посвежее и в офицерском мундире. Когда же...

#### Раздел четвертый.

#### БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСШЕЙ КУЛЬТУРЫ.

#### ЗРЕЛЫЕ МЕСЯЦЫ МУЖЧИНЫ

*(М. пр.)* ... Трогательная речь Гинцмана, поминки, прекрасная Мина, вновь сыскавшаяся Мисмис, танец – все это возбудило единоборство противоречивейших чувствований в моей груди, так что я, как принято говорить в обыденной жизни, был просто вне себя и в безнадежном душевном смятении желал очутиться в погребе, в могиле, подобно моему другу Муцию. Итак, я достиг предела, и, право, я не знаю, что было бы со мною, не живи во мне истинный, высокий поэтический дух, одаривший меня в изобилии стихами, которые я не преминул записать. Божественность поэзии открывается преимущественно в том, что сложение стихов – хоть рифма подчас и стоит немало поту – приносит дивную душевную отраду, превозмогающую всякое земное страдание, и даже, как говорят, голод и зубную боль. К примеру, когда смерть похищает у нас мать или жену, должно, как и полагается, обезуметь от скорби; однако мысль о божественной погребальной песне, зачатой нами во глубине души, подарит нам немалое утешенье, и мы снова изберем супругу единственно лишь для того, чтобы не лишиться надежды на новое трагическое вдохновение подобного рода.

Вот строки, живописующие с истинно поэтической силою мое состояние и переход от страдания к радости:

*Кто бродит там, во тьме подвала,*

*Где так пустынна тишина?*

*Кто шепчет мне «приди» устало,*

*Чья в мире жалоба слышна?*

*Холодный погреб сырость точит,*

*Здесь погребен мой верный друг,*

*Моей поддержки в смерти хочет*

*Его бездомный скорбный дух.*

*Но нет, не тень, не призрак друга*

*Стенаньем наполняет тьму.*

*Рыдает верная супруга*

*По избранному своему.*

*И, прежней страстью околдован,*

*Ринальдо рвется к ней назад.*

*Но как! Я вижу когти снова*

*И ревностью взбешенный взгляд.*

*Она, жена! Куда мне деться?*

*Волненье, боль... Но, боже мой,*

*Как первый снег, как утро детства,*

*Сама невинность предо мной.*

*Она идет! Светлеют дали,*

*И я робею, хоть не трус,*

*И пахнет свежестью в подвале.*

*В груди легко, на сердце – груз.*

*Потерян друг, она явилась.*

*Блаженство, горечь, страх, мечты...*

*Супруга! Дочь! Опасность! Милость!*

*О сердце, как не лопнешь ты?*

*Дурманят нас волненьем ложным*

*И танцев вихрь и шепот тризн,*

*Им верить нужно осторожно,*

*Неверный шаг – и рухнет жизнь.*

*С дороги прочь! Я вас не вижу,*

*Кокетка дочь, злодейка мать!*

*Любовь иль злоба вами движут –*

*Самим вам, кошки, не понять.*

*Лгут ваши песни, взгляды, мины,*

*Фальшивый род невест и жен.*

*Уйди, Мисмис, с дороги, Мина!*

*Бегу – и Муций отомщен.*

*О друг мой, каждое жаркое*

*Тебя напоминает мне,*

*И, рыбий хвост грызя с тоскою,*

*Я тихо плачу в тишине.*

Нет, действие самого процесса стихосложения оказалось столь благодатным, что я не мог удовольствоваться одним этим стихотворением и сочинил их несколько, одно за другим, причем с такой же легкостью и так же удачно. Лучшие из них я сообщил бы здесь же благосклонному читателю, если б не намеревался приложить к ним многие приготовленные в часы досуга остроты и экспромты, при одной мысли о которых я едва не лопаюсь со смеху. Все это я предполагаю выпустить в свет под общим заглавием «Плоды досуга и вдохновенья». К немалой моей чести, я должен сказать, что даже в юношеские годы, когда буря страстей еще не отбушевала, мой ясный разум и тонкое чувство меры одерживали верх над чрезмерным опьянением чувств. Как раз благодаря этому мне удалось окончательно подавить внезапно вспыхнувшую любовь к прекрасной Мине. Здраво рассудив, я признал эту страсть при моем положении несколько безрассудной; к тому ж я проведал, что Мина, невзирая на обманчивую, детски скромную внешность, была дерзким, своенравным существом и при всяком удобном случае заезжала всей когтистой пятерней в глаза скромнейшим котам-юношам. Но, дабы избавиться от повторных приступов страсти, я заботливо избегал встреч с Миной, а так как необоснованные притязания Мисмис и ее странное, возбужденное поведение ужасали меня еще более, то я уединился в комнате, чтобы не встречать ни ту, ни другую, и не посещал ни погреба, ни чердака, ни крыши. Казалось, мой хозяин благосклонно взирал на мое уединение; он позволял мне сидеть на кресле у него за спиной, когда занимался науками за письменным столом, и я, вытянув шею, заглядывал из-под его руки в книгу, которую он читал. Так мы, то есть я и мой хозяин, проштудировали много отличнейших книг, как, например: Арпе «De prodigiosis naturae et artis operibus, Talismanes et Amuleta dictis» [[63]](#footnote-62), Беккеров «Заколдованный мир», «О достопамятных вещах» Франческо Петрарки и т. п. Это чтение меня рассеяло необыкновенно и побудило мой дух к новому взлету.

Хозяин вышел. Солнце сияло столь приветливо, благоухание весны струилось в окно столь заманчиво, что я позабыл о моих намерениях и вздумал прогуляться на крышу. Но едва очутился я наверху, как сразу приметил вдову Муция, вышедшую мне навстречу из-за трубы. От ужаса я как вкопанный застыл на месте, ожидая, что вот-вот на меня посыплется град упреков и заклинаний. Но как я ошибся! Следом за ней вышел юный Гинцман, рассыпаясь пред прекрасной вдовою в сладчайших комплиментах; она остановилась и встретила его ласковыми словами. Они поздоровались друг с другом с самой сердечной нежностью и потом быстро прошли мимо меня, не поклонившись и делая вид, будто они не замечают меня. Юный Гинцман, должно быть, сгорал со стыда, так как он понурил голову и опустил глаза; но легкомысленная вдова бросила на меня насмешливый взгляд.

Здесь следует признать, что кот – и это прежде всего касается его психического склада – есть существо все же совершенно сумасбродное. Разве не могло, не должно было меня радовать, что вдова Муция обзавелась любовником на стороне? И все же я не мог преодолеть некоей внутренней досады, весьма походившей на ревность. И тогда я поклялся не посещать крышу, где, как я считал, мне нанесли большую обиду. Вместо столь дальних прогулок я теперь усердно прыгал на подоконник, грелся, глядел вниз на улицу, чтоб рассеяться, предавался глубокомысленным размышлениям и таким образом сочетал приятное с полезным.

При этом меня глубоко занимала мысль, почему мне никогда не приходило на ум по собственному свободному побуждению усесться перед дверьми дома или прогуляться по улице, как делали это, по моим наблюдениям, многие из моего племени безо всякого страха и боязни. Я представил себе необычайную приятность такой прогулки и пришел к мысли, что теперь, будучи вполне зрелым котом и накопив достаточно житейского опыта, я уже не подвергнусь тем опасностям, какие мне угрожали, когда судьба меня, несовершеннолетнего юношу, вышвырнула в свет. Поэтому я смело спустился с лестницы и для начала уселся на пороге погреться на солнышке. Само собой разумеется, что я принял позу, по которой каждый мог с первого взгляда признать во мне образованного, хорошо воспитанного кота. Сидеть подле двери дома понравилось мне несказанно. Покамест солнечные лучи благотворно согревали мне шкурку, я, согнув лапу, тщательно чистил мордочку и усы. Несколько проходивших мимо девушек, судя по их большим ранцам с застежками, вероятно возвращавшихся из школы, не только выказали свое великое удовольствие, приметив меня, но и преподнесли мне кусочек булки, за что я их со свойственной мне галантностью поблагодарил.

Я больше забавлялся преподнесенным мне подарком, чем вправду собирался его проглотить; но сколь был велик мой ужас, когда внезапно громкое ворчание прервало мою игру и передо мной предстал могучий старик, приходившийся Понто дядей, – пудель Скарамуш. Одним прыжком хотел я умчаться прочь от дверей, но Скарамуш крикнул:

– Не будь трусишкой и сиди смирно! Ты думаешь, я собираюсь тебя слопать?

С самой смиренной учтивостью я спросил его, в чем мое ничтожество могло бы услужить господину Скарамушу? Но он грубо ответил:

– Ни в чем, ровно ни в чем не можешь ты мне услужить, мосье Мурр, да это и невозможно. Но я хотел спросить у тебя, может быть, ты знаешь, где скрывается мой беспутный племянник, молодой Понто? Ты ведь однажды уже шатался с ним, и, к моей немалой досаде, вы с ним, кажется, большие друзья-приятели. Ну! Скажи мне, знаешь ты, где носится этот юнец? Я уже несколько дней его и в глаза не видал.

Задетый надменным, пренебрежительным обращением ворчливого старика, я холодно ответил, что никогда не было и не могло быть и речи о тесной дружбе между мной и молодым Понто, тем более что в последнее время Понто вовсе от меня отдалился, впрочем, я и не очень-то искал его общества.

– Ну, это меня радует, – проворчал старик, – это все-таки показывает, что юнец еще не совсем потерял честь и не водится со всяким сбродом.

Такого я уже не мог вынести. Гнев одолел меня, во мне проснулся дух буршества. Я позабыл всякий страх и, фыркнув в лицо презренному Скарамушу: «Старый грубиян!», занес правую лапу с выпущенными когтями, целясь пуделю в левый глаз. Старик отступил на два шага и сказал уже не так грубо, как раньше:

– Ну, ну, Мурр, не стоит обижаться. Вы, впрочем, хороший кот, и я лишь хочу вам посоветовать: берегитесь этого сорванца Понто! Он, поверьте мне, малый честный, но легкомысленный, да, да, легкомысленный и склонный ко всяким проказам. Нет у него серьезного отношения к жизни, не признает он никаких правил! Берегитесь, говорю я вам, иначе он очень скоро заманит вас в компанию не вашего круга и вам придется с невероятными усилиями принуждать себя к светскому обхождению, противному глубочайшим основам вашей натуры, непосильному для вашей индивидуальности, губительному для вашего нрава, простого и открытого, в чем вы только что меня убедили. Видите ли, мой добрый Мурр, вы как кот достойны всяческого уважения, я уже говорил это, – и склонны охотно выслушивать полезные поучения. Видите ли, сколько бы ни портили юнца проказы, проделки и даже сомнительные выходки, все же иногда в нем проскальзывает мягкое, часто даже слащавое добродушие, всегда свойственное людям с сангвиническим темпераментом, – словом, то, что подразумевает французское выражение «Au fond [[64]](#footnote-63), он все же славный малый», и это может извинить все, в чем он погрешит против порядка и приличий. Но этот «fond», где запрятано зерно добра, покоится так глубоко и завален столькими отбросами от разнузданных оргий, что непременно зачахнет в зародыше. Вместо настоящего чувства добра нам часто преподносят это нелепое добродушие, черт бы его побрал, так как оно не позволяет распознавать дух зла под блестящей маской. О кот, доверьтесь опыту старого пуделя, искушенного в свете, и не позволяйте морочить себя этим «Au fond, он славный малый»! Если вы увидите моего беспутного племянника, вы можете прямо высказать ему все, что я вам говорил, и совершенно прекратить всякую дружбу с ним. Ну, счастливо оставаться! Вы, конечно, уже этого есть не станете, мой добрый Мурр?

С этими словами старый пудель Скарамуш живо подхватил лежавший передо мной кусочек булки и спокойно зашагал дальше, опустив голову, так что его заросшие длинными волосами уши волочились по земле, и чуть-чуть повиливая хвостом.

Задумчиво смотрел я вслед старцу, чья жизненная мудрость глубоко запала мне в душу.

– Он ушел? Он ушел? – зашептал кто-то у меня за спиной, и я немало удивился, увидев юного Понто, прокравшегося за двери и выжидавшего, пока его дядя уйдет. Неожиданное появление юного пуделя несколько меня смутило, ибо поручение старого дяди, которое, собственно, я должен был бы теперь выполнить, все же показалось мне немного опасным. Я вспомнил об ужасных словах, однажды сказанных мне Понто: «Если ты замыслишь против меня недоброе, то помни, что я превосхожу тебя силой и ловкостью. Один прыжок, один хороший укус моих острых зубов – и тебе тут же крышка!» Я счел более благоразумным промолчать.

От этих внутренних колебаний мое обхождение, вероятно, показалось холодным и принужденным; Понто уставился на меня острым взглядом, однако тут же разразился звонким смехом и воскликнул:

– Я замечаю, друг Мурр, что старик уже наговорил тебе бог весть каких ужасов о моем поведении; наверное, разрисовал меня беспутным малым, предающимся всяческим дурачествам и разврату. Не будь глупцом и не верь ничему, что он тут наговорил! Прежде всего посмотри на меня повнимательнее и скажи, как ты находишь мою внешность?

Осмотрев юного Понто, я нашел, что никогда он не был так упитан и не выглядел так блестяще, что никогда его одежда не была так привлекательна и элегантна и никогда еще все его существо не дышало такой отрадной гармонией. Я откровенно высказал ему это.

– Ну хорошо, мой добрый Мурр, – сказал Понто, – неужто ты думаешь, что пудель, проводящий время в дурном обществе, предающийся низкому разврату, беспутствующий изо дня в день – не потому, что он находит в этом особый вкус, а единственно от скуки, как это и вправду случается со многими пуделями, – неужто ты думаешь, что этот пудель мог бы выглядеть так, каким ты видишь меня? Ты особенно восхваляешь гармонию во всем моем существе. Уже это должно тебя вразумить, как жестоко ошибается мой дядя. Ну а так как ты литературно образованный кот, то припомни одного мудреца, ответившего тому, кто порицал распутников особенно за дисгармонию в их внешнем облике: «Возможно ль, чтобы порок был гармоничен?» Не удивляйся ни на секунду, друг Мурр, черным наветам моего старика: желчный и скупой – таковы обычно все дядюшки, – он обратил на меня весь свой гнев потому, что должен был уплатить за меня несколько небольших карточных долгов par honneur [[65]](#footnote-64) знакомому колбаснику, допускающему у себя запрещенные игры и дающему игрокам значительные ссуды колбасами, которые он начиняет мозгами, кашей и печенкой. Старик все еще вспоминает о том времени, когда мой образ жизни был и вправду непохвальным, но оно уже давно миновало и сменилось безупречной благопристойностью.

В это мгновенье мимо проходил дерзкий пинчер, который так вытаращил на меня глаза, будто никогда не видал мне подобных, и начал выкрикивать мне прямо в уши грубейшие непристойности. Затем он схватил меня за хвост, благо я вытянул его во всю длину, что ему, видимо, не понравилось. Но пока я, поднявшись во весь рост, готовился к защите, Понто уже прыгнул на неотесанного забияку, стоптал его и несколько раз швырнул его оземь, так что тот, поджав хвост, с самыми горестными воплями стрелой умчался прочь.

Это доказательство доброго расположения Понто и его деятельной дружбы растрогало меня необыкновенно, и я подумал, что выражение «Au fond, он славный парень», которое дядя Скарамуш хотел опорочить в моих глазах, все же применимо к Понто в лучшем смысле, чем ко многим другим, и может извинить его с большим основанием, чем их. Мне стало даже представляться, что старик, должно быть, видит все в слишком черном свете и что Понто хотя и способен на легкомысленные поступки, но никогда не сделает ничего дурного. Я высказал все это моему другу совершенно непритворно и в учтивейших выражениях поблагодарил его за защиту.

– Меня радует, милый Мурр, – ответил Понто, по своему обычаю, бегая веселыми, плутоватыми глазками, – что старику педанту не удалось ввести тебя в заблуждение и ты узнал мое доброе сердце. Не правда ли, Мурр, я здорово проучил высокомерного юнца? Будет он меня помнить! Собственно, я сегодня уже целый день подстерегал его: разбойник вчера украл у меня колбасу и за это должен был ответить. А что заодно была отомщена нанесенная им тебе обида и я таким образом мог доказать тебе свою дружбу – это мне только приятно; я, как говорит пословица, убил сразу двух зайцев. Но теперь вернемся к нашему разговору. Осмотри меня снова как можно тщательнее, милый кот, и скажи, ты не замечаешь никаких достопримечательных перемен в моей наружности?

Я внимательно посмотрел на моего юного друга и – скажите на милость! – только теперь обратил внимание на серебряный ошейник изящной работы, где было выгравировано: «Барон Алкивиад фон Випп, Маршаль-штрассе № 46».

– Как, Понто? – воскликнул я удивленно. – Ты покинул своего хозяина, профессора эстетики, и перешел к барону?

– Собственно, не я покинул профессора, – ответил Понто, – а он сам меня прогнал, к тому же пинками и колотушками.

– Возможно ли! – удивился я. – Ведь прежде твой хозяин всячески выказывал тебе свою любовь и благосклонность?

– Ах, – ответил Понто, – это глупая, досадная история, и только благодаря странной игре насмешливого случая она окончилась для меня счастливо. Виной всему было мое дурацкое добродушие, к которому примешалось немного тщеславного хвастовства. Я без конца выказывал хозяину мою внимательность и при этом немного кичился моим искусством, моей образованностью. Так, я привык приносить ему без каких бы то ни было приказаний всякие мелочи, валявшиеся на полу. Ну а ты, вероятно, знаешь, что у профессора Лотарио цветущая молодая жена, писаная красавица; она его нежнейше любит, в чем он никак не может сомневаться, ибо она уверяет его в этом каждую минуту, осыпая его ласками, когда он, зарывшись в книги, готовится к предстоящей лекции. Она – воплощенная домовитость, так как никогда не выходит из дому раньше двенадцати часов и встает в половине одиннадцатого; к тому же дама эта отнюдь не гнушается обсуждать с кухаркой и горничной все домашние дела до мельчайших подробностей, а также пользоваться их кошельком, потому что деньги на недельное пропитание из-за непредвиденных расходов тают слишком быстро, а к профессору она не смеет обратиться. Проценты по этим займам она отдает малоношеными платьями; эти же платья и, вероятно, также перья на шляпе, украшающие ее горничную каждое воскресенье на удивление всем служанкам, должно быть, являются наградой за некоторые тайные услуги.

При всех совершенствах эту милую женщину можно было бы, пожалуй, упрекнуть в некотором сумасбродстве, если вообще это можно назвать сумасбродством: ее главной заботой, ее горячим и постоянным желанием было одеваться по последней моде; самое элегантное, самое дорогое для нее недостаточно элегантно, недостаточно дорого; не успеет она надеть платье и трех раз, а шляпу – четырех, и месяца не поносить турецкую шаль, как уже чувствует к ним неодолимое отвращение и спускает за бесценок самые дорогие туалеты или, как я говорил, наряжает в них служанку. Что у жены профессора эстетики есть чувство формы и вкус, совершенно неудивительно, и супруг должен только радоваться, когда этот вкус обнаруживается в том, что его супруга с заметным удовольствием останавливает свои сверкающие, огненные глаза на красивых юношах, а иногда и преследует их взглядами. Несколько раз замечал я, как тот или иной любезный молодой человек, посещавший лекции профессора, сбивался с дороги и, осторожно открывая вместо дверей аудитории двери на половину профессорши, так же осторожно входил туда. Я даже был близок к мысли, что ошибка эта происходила преднамеренно или по крайней мере никого не заставляла раскаиваться в ней, так как никто не спешил ее исправить, и каждый, кто входил к профессорше, выходил от нее лишь порядочное время спустя и при этом с таким улыбающимся, довольным видом, как если бы посещение профессорши было для него так же приятно и полезно, как лекция профессора по эстетике. Прекрасная Летиция – так звалась профессорша – не питала ко мне особого расположения. Она видеть не могла, когда я заходил к ней в комнату, и, пожалуй, была права, так как, конечно, и самый цивилизованный пудель не к месту там, где он на каждом шагу рискует разорвать кружева или запачкать платья, разбросанные по всем стульям. Однако злой гений профессорши однажды заставил меня проникнуть в ее будуар.

Как-то господин профессор выпил за обедом вина больше обычного и потому воодушевился до чрезвычайности. Придя домой, он, против обыкновения, проследовал прямо в комнату своей жены, и я – сам не знаю, по какой странной прихоти, – проскользнул в двери вслед за ним. Профессорша была в пеньюаре, белом, как только что выпавший снег; весь ее наряд обнаруживал не столько небрежность, сколько подлинное искусство туалета, скрытое под внешней простотой и столь же опасное, как хорошо замаскированный враг. В самом деле, профессорша была очаровательна, и слегка возбужденный вином профессор почувствовал это сильней, чем когда-либо. Полный любви и восторга, он называл свою прелестную супругу самыми игривыми прозвищами, осыпал ее самыми нежными ласками, совершенно не замечая какой-то рассеянности, какого-то беспокойства и неудовольствия, ясно сквозивших во всем поведении профессорши. Все возраставшая нежность воодушевленного эстетика была мне неприятна и тягостна. Я вернулся к моему прежнему времяпрепровождению и стал рыскать по комнате. И как раз когда профессор в совершенном упоении громко воскликнул: «Единственная, непревзойденная, божественная женщина, приди же...» – я, приплясывая на задних ногах, грациозно и, как всегда в таких случаях, слегка повиливая хвостом, доставив ему поноску – мужскую перчатку лимонного цвета, найденную мной под софой госпожи профессорши.

Эстетик уставился на перчатку и воскликнул, как будто с него внезапно спугнули сладкий сон: «Что это? Чья это перчатка? Как она попала в эту комнату?» С этими словами он вырвал перчатку у меня из пасти, осмотрел ее, поднес к носу и снова громко воскликнул: «Откуда здесь эта перчатка? Петиция, говори, кто был у тебя?» – «Как, – ответила милая, верная Летиция неуверенным голосом, тщетно силясь подавить свое смущение, – как ты нынче странен, дорогой Лотар! Чья эта перчатка? Чья она? Здесь была майорша, прощаясь, она никак не могла найти перчатку и решила, что выронила ее на лестнице». – «Майорша? – завопил профессор совершенно вне себя. – Маленькая, хрупкая женщина? Да вся ее рука влезет в один этот большой палец! Что за дьявол! Кто был здесь, какой разряженный олух?! Эта проклятая штука пахнет душистым мылом! Несчастная, кто был здесь? Какой преступный адский обман разрушил мой покой, мое счастье? Бесчестная, гнусная женщина!»

Профессорша уже приготовлялась упасть в обморок, как вдруг вошла горничная, и я, довольный, что могу избавиться от семейной сцены, для которой дал повод, проворно юркнул за дверь.

На другой день профессор был очень молчалив и углублен в себя; казалось, его занимала одна-единственная мысль, казалось, его мучила одна-единственная проблема. «Кто он?» – таковы были слова, иногда невольно слетавшие с его безмолвных губ. Под вечер он взял шляпу и палку. Я подпрыгнул и радостно залаял. Он долго смотрел на меня, светлые слезы выступили у него на глазах, затем сказал с глубочайшей сердечной скорбью: «Мой добрый Понто – верная, честная душа!» Потом он быстро выбежал за ворота, и я за ним по пятам, твердо решив развеселить беднягу всеми фокусами, какие только я знал. Тут же за воротами мы встретили барона Алкивиада фон Випп, одного из самых изящных щеголей в нашем городе, гарцевавшего на красивой английской лошади. Как только барон увидел профессора, он подскакал к нему и спросил о здоровье профессора и госпожи профессорши. Профессор в замешательстве пробормотал, запинаясь, несколько непонятных слов. «Действительно, очень жаркая погода», – сказал наконец барон и вытащил из кармана сюртука шелковый платок, но при этом выронил перчатку, и я, по установившемуся обычаю, тут же принес ее своему хозяину. Профессор поспешно вырвал у меня перчатку, воскликнув: «Это ваша перчатка, господин барон?» – «Ну конечно, – ответил тот, удивленный порывистостью профессора, – я думаю, что выронил ее из кармана, а ваш услужливый пудель поднял ее». – «Тогда, – резким тоном сказал профессор, протягивая ему вместе с первой перчаткой вторую, найденную мною под софой у профессорши, – тогда я имею честь преподнести вам близнеца этой перчатки, которого вы потеряли вчера».

Не ожидая ответа от заметно смущенного барона, профессор стремглав ринулся прочь.

Я, конечно, остерегся следовать за профессором в комнату его дорогой супруги, так как я предчувствовал бурю. Вскоре и впрямь послышались ее раскаты, достигавшие даже сеней. Здесь, сидя в углу, я и прислушивался к ним и увидел, как профессор с лицом, на котором разгорелось пламя сильнейшей ярости, вышвырнул горничную из дверей комнаты, а потом, когда она еще осмелилась отпускать ему дерзости, – и из дому. Наконец поздно ночью мой хозяин в полном изнеможении поднялся в свою комнату. Тихим повизгиванием я дал ему понять мое сердечное сочувствие к его беспросветному горю. Тогда он обнял меня за шею и прижал к груди, как если б я был его лучшим, задушевным другом. «Добрый, честный Понто, – сказал он жалобно, – верная душа! Только благодаря тебе я пробудился от обманчивого сна, мешавшего мне узнать о моем позоре; только тебе я обязан тем, что сбросил ярмо, в которое запрягла меня неверная женщина, и могу вновь стать свободным, ничем не скованным человеком. Понто, как мне отблагодарить тебя? Никогда, никогда не покидай меня! Я буду заботиться о тебе, как о своем самом лучшем, самом верном друге; только ты сможешь меня утешить, когда я стану отчаиваться при мысли о моей злосчастной судьбе».

Эти трогательные излияния благородной и в то же время благодарной души были прерваны кухаркой, ворвавшейся в комнату с бледным, расстроенным лицом и принесшей профессору ужасную весть, что госпожа профессорша лежит в страшнейших судорогах и вот-вот испустит дух. Профессор полетел вниз.

После этого я несколько дней почти не видал моего хозяина. Забота о моем пропитании, которую обычно любовно брал на себя сам профессор, была поручена кухарке, и эта ворчливая мерзкая особа с неохотой приносила мне вместо прежних вкусных кушаний самые скверные, почти несъедобные куски. Иногда она совсем забывала обо мне, и я был вынужден попрошайничать у добрых знакомых и даже отправляться на охоту, чтобы утихомирить свой голод.

Наконец-то однажды, когда я, голодный и обессиленный, свесив уши, бродил по дому, профессор уделил мне внимание. «Понто, – воскликнул он, улыбаясь и сияя, точно само небесное светило. – Понто, мой старый честный пес, где же ты пропадал? Неужели я так долго тебя не видел? Я уверен, что тебя, вопреки моей воле, совсем забросили и кормили как попало. Ну, иди же, иди. Сегодня я накормлю тебя сам».

Я тут же последовал за благосклонным хозяином в столовую. Его встретила госпожа профессорша, цветущая, как роза, с тем же солнечным сиянием на лице, что и у господина супруга. Они были так нежны друг с другом, как никогда до этого; она называла его: «Мой ангел!», а он ее: «Моя мышка!», и при этом оба миловались и целовались, словно голуби. Радостно было смотреть на них. Милая госпожа профессорша была приветлива и со мной, и ты можешь себе представить, славный Мурр, что при моей врожденной галантности я сумел повести себя с изящной учтивостью. Разве мог я предчувствовать, что меня ждет?

Мне самому было бы очень тяжело, а главное, тебя утомило бы, если б я подробно рассказывал тебе о всех коварных шутках, которые сыграли со мною мои враги, чтобы погубить меня. Я ограничусь всего несколькими необходимыми штрихами, чтобы нарисовать тебе верную картину моего безрадостного положения. У моего хозяина была привычка за едой отпускать мне мои обычные порции супа, зелени и мяса в углу столовой возле печки. Я ел так благопристойно, так опрятно, что на полу никогда не было даже малейшего жирного пятнышка. Поэтому я пришел просто в ужас, когда однажды за обедом моя миска, едва я к ней притронулся, разлетелась в куски, и жирный бульон пролился на красивый паркет. Профессор гневно набросился на меня с грубой бранью, и на побледневшем лице профессорши, хоть она и старалась меня оправдать, тоже можно было прочесть сильную досаду. Она выразила мнение, что отвратительное пятно нельзя будет вывести, так что придется уж соскоблить это место или поставить новую плитку. Профессор питал глубокое отвращение ко всяким таким починкам: он слышал уже шум рубанков и молотков столярных подмастерьев, и таким образом все участливые-оправдания профессорши только дали ему как следует почувствовать последствия моей мнимой неловкости и доставили мне, кроме брани, несколько добрых пощечин. Сознавая свою невиновность, я стоял совершенно смущенный и совсем не знал, что думать и что сказать. И лишь когда эта история повторилась, я заметил коварство: мне ставили полуразбитую миску, и она при малейшем прикосновении неизбежно разлеталась в куски.

Больше я не смел заходить в столовую; пищу мне выносила за двери кухарка, но так скупо, что я, гонимый голодом, вечно искал, где бы стибрить хоть кусок хлеба или какую-нибудь кость. Из-за этого каждый раз поднимался страшный шум, и мне приходилось терпеть упреки в корыстной краже, когда речь могла идти только об удовлетворении насущнейших потребностей.

Дело пошло еще хуже. Кухарка, подняв крик, пожаловалась, что у нее из кухни исчезла целая баранья нога и что, конечно, виновник пропажи – я. Эта история как одно из важнейших домашних происшествий дошла и до профессора. Тот сказал, что он никогда прежде не замечал во мне наклонности к воровству и что шишка воровства у меня совсем неразвита. Невероятно также, чтобы я один управился с целой бараньей ногой, не оставив никаких следов. Стали искать и – нашли в моей постели остатки баранины! Мурр! Слушай, клянусь тебе положа лапу на сердце, что я был совершенно невиновен, что мне никогда и в голову не приходило красть жаркое; но разве помогли мне клятвы в моей невиновности, если улики были против меня! Профессор разгневался тем более, что он уже принял мою сторону и теперь увидел себя обманутым в своем хорошем мнении обо мне. Я получил здоровую взбучку.

С тех пор чем сильнее давал мне почувствовать профессор свое отвращение, тем приветливее была со мной госпожа профессорша, она гладила меня, чего прежде никогда не делала, и даже потчевала иногда лакомым кусочком. Как мог я подозревать, что все это только лицемерный обман? И все же это скоро обнаружилось.

Двери столовой были открыты; с пустым желудком, томясь, глядел я в нее и скорбно думал о тех счастливых временах, когда я, как только распространялся сладостный аромат жаркого, не напрасно глядел на профессора с мольбой во взоре; при этом я, как говорится, держал нос по ветру. Вдруг профессорша воскликнула: «Понто, Понто!» – и ловко протянула мне прекрасный кусок жаркого, держа его между большим и миловидным указательным пальчиками. Возможно, что в порыве вспыхнувшего аппетита я схватил его немного стремительнее, чем полагается, но, поверь мне, Мурр, я не укусил нежной лилейной ручки. Однако профессорша, громко вскрикнув: «Злой пес!» – упала в кресло будто в обмороке, и я, к моему ужасу, увидел на большом пальце несколько капель крови. Профессор разъярился; он бил меня, топтал ногами, так жестоко и немилосердно обошелся со мной, что, если б я не спасся самым поспешным бегством из дому, я, конечно, не сидел бы с тобой, мой славный кот, здесь перед дверьми и не грелся бы на солнышке.

О возвращенье нечего было и думать. Я понял, что мне не выпутаться из тенет, сплетенных профессоршей в отместку за баронскую перчатку, и решил поискать себе другого хозяина. Прежде, при отличных дарованиях, которыми снабдила меня природа, это было бы мне очень легко; но голод и скорбь меня так ослабили, что из-за моего жалкого вида мне, как я опасался, везде могли отказать. Печальный, мучимый гнетущей заботой о пропитанье, я выбрался за ворота и тут же заметил, что впереди меня идет господин барон Алкивиад фон Випп. Я и сам не знаю, как во мне зародилась мысль предложить ему свои услуги. Вероятно, какое-то неясное чувство подсказало мне, что таким образом я получу возможность отомстить неблагодарному профессору, как это и произошло позже на самом деле.

Приплясывая, я подбежал к барону, встал на задние лапы и, когда он посмотрел на меня с некоторой благосклонностью, без дальнейших церемоний последовал за ним в его жилище. «Посмотрите, – сказал барон молодому человеку, кого он называл своим камердинером, хоть у него и не было другого слуги, – посмотрите, Фридрих, что это за пудель пристал ко мне? Если б он был покрасивее!» Но Фридрих похвалил выраженье моего лица, так же как и мой изящный стан, и выразил мнение, что мой хозяин, наверное, плохо со мной обращался и потому я бросил его. Он добавил, что пудели, приблудившиеся сами, по своему желанию, обычно бывают верными, честными собаками, поэтому барон решился оставить меня у себя. Хотя стараниями Фридриха я приобрел вполне элегантный вид, барон, казалось, все же был невысокого мнения обо мне и неохотно соглашался, чтобы я сопровождал его на прогулках. Но скоро все пошло иначе. Как-то на прогулке мы встретили профессоршу. Да, мой славный Мурр, нрав у твоего друга, честного пуделя, поистине добродушнейший – да, да, именно так должен я выразиться. Ибо, уверяю тебя, что, хотя профессорша сделала мне много зла, я все же почувствовал непритворную радость, вновь увидев ее. Я плясал перед ней, весело лаял и на все лады давал ей понять мою радость. «Скажите пожалуйста – Понто!» – воскликнула она, погладив меня, и многозначительно посмотрела на остановившегося фон Виппа. Я прыгнул обратно к моему хозяину, и он меня приласкал. Должно быть, ему пришло что-то интересное на ум, несколько раз он пробормотал себе под нос: «Понто, Понто, если б это было возможно!»

Так мы дошли до расположенного вблизи парка. Профессорша вновь присоединилась к своей компании и села за один из столиков, где, однако, не было дорогого, доброго господина профессора. Неподалеку от нее сел барон Випп, но так, чтобы не выпускать из глаз профессоршу и в то же время не привлекать постороннего внимания. Я стал перед моим хозяином и с любопытством глядел на него, виляя хвостом, как будто ожидая приказаний. «Понто, возможно ли это? – повторил он. – Ну, – прибавил он после краткого молчания, – ну что ж, попробуем». С этими словами он достал листок бумаги, написал несколько слов карандашом, скатал его в трубочку, спрятал мне под ошейник, указал на профессоршу и прошептал: «Понто, allons!» [[66]](#footnote-65) Я не был бы таким умным, искушенным в свете пуделем, каков я есть, если б тут же не понял все. Я немедленно подбежал к столу, где сидела профессорша, и сделал вид, будто мне очень хочется попробовать превосходного пирожного, лежавшего перед ней. Профессорша была сама приветливость, одной рукой она подала мне пирожное, а другой чесала мне шею. Я почувствовал, как она вытаскивает листок. Вскоре после этого она оставила общество и направилась на одну из боковых дорожек. Я последовал за ней и увидел, как она жадно прочла слова барона, как вынула из своей вязаной сумочки карандаш, написала на той же записке несколько слов и снова свернула ее в трубочку. «Понто, – позвала она затем, посмотрев на меня лукавым взглядом, – надо не только уметь носить поноску, но и знать, кому и когда ее подавать. Я надеюсь на твой ум и понятливость». С этими словами профессорша спрятала записочку под ошейник, и я не преминул как можно скорее вприпрыжку возвратиться к своему хозяину. Тот немедленно догадался, что я принес ответ, ибо тут же вытащил записку из-под ошейника. Должно быть, слова профессорши были весьма приятны и утешительны, так как глаза барона засверкали радостью, и он воскликнул в восторге: «Понто, Понто, ты – божественный пудель; моя счастливая звезда привела тебя ко мне!» Ты можешь себе представить, дорогой мой Мурр, что я был немало обрадован – ведь я увидел, как сильно я повысился во мнении своего хозяина. Радость эта заставила меня почти без всякого приглашения проделать все кунштюки, какие только возможны. Я говорил по-собачьему, делал «умри!», оживал снова, отвергал кусок булки из рук еврея и поедал его с аппетитом из рук христианина и т. д. «Необыкновенно понятливая собака!» – воскликнула старая дама, сидевшая возле профессорши. «Необыкновенно понятливая!» – ответил барон. «Необыкновенно понятливая!» – прозвучал как эхо голос профессорши. Короче, скажу тебе, мой добрый Мурр, что я взял на себя заботу о доставке корреспонденции описанным способом и обязанность эту выполняю и по сей день. Порой, когда профессор отсутствует, я даже бегаю с письмецом к нему на дом. А по временам, когда господин барон Алкивиад фон Випп пробирается в сумерки к милой Летиции, я остаюсь у двери дома и, едва только завижу вдали профессора, поднимаю такой яростный, дьявольский вой и лай, что мой хозяин чует так же хорошо, как и я, приближение врага и исчезает.

Я подумал, что, пожалуй, не мог бы одобрить поведения Понто. Воспоминанье об усопшем Муции, мысль о моем собственном отвращении ко всяческим ошейникам заставили меня прийти к следующему выводу: добропорядочный кот с честной душой погнушался бы подобным сводничеством. Все это я высказал юному Понто совершенно непритворно. Но он рассмеялся мне в лицо и спросил: так ли уж строга кошачья мораль и не забирался ль и я по временам в чужой огород, то есть не совершал ли чего-нибудь, что не укладывалось на узкой полочке морали? Я вспомнил Мину и замолчал.

– Прежде всего, добрый Мурр, – продолжал Понто, – есть весьма простое и мудрое житейское правило: как ни вертись, а от судьбы не уйдешь. Ты кот с образованием и потому подробнее можешь об этом прочесть в одной весьма поучительной и в превосходном стиле написанной книге под названием «Jacques le fataliste» [[67]](#footnote-66). Вечным законом было предначертано, что профессор эстетики, господин Лотарио, должен стать... ну, ты понимаешь меня, славный кот; к тому же профессор манерой своего поведения в достопримечательной истории с перчаткой – она должна получить широкую огласку, напиши о ней, Мурр! – доказал, что у него есть от природы призванье к тому, чтобы вступить в этот великий орден, чьи знаки, сами того не подозревая, носят так много мужчин с таким величавым достоинством, с такой горделивой осанкой. Господин Лотарио все равно последовал бы своему призванию, если б даже не существовало никакого барона Алкивиада фон Випп, никакого Понто. Разве профессор не заслужил своими поступками, чтобы я бросился прямо в объятья его врага? Но не будь меня, барон нашел бы, наверное, другое средство объясниться с профессоршей, и тот же позор все равно пал бы на профессора, не принеся мне той пользы, какую я теперь действительно ощущаю от приятных отношений барона и милой Летиции. Мы, пудели, не такие уж моралисты, чтобы есть себя поедом и пренебрегать лакомыми кусочками, которыми и без того жизнь оделяет нас весьма скудно.

Я спросил юного Понто, вправду ли польза от службы у барона Алкивиада фон Випп столь велика и значительна, что она искупает все неприятности и гнет связанного с нею рабства. При этом я дал ему недвусмысленно понять, что именно это рабство всегда будет отвратительно коту, в чьем сердце неугасим дух вольнолюбия.

– Ты говоришь о моей службе, добрый мой Мурр, – ответил Понто, пренебрежительно улыбаясь, – так, как ты ее понимаешь, или, вернее, как она тебе представляется при твоей полной неопытности в том, что относится к более высокому образу жизни. Ты не знаешь, что значит быть любимцем такого галантного, воспитанного человека, как барон Алкивиад фон Випп. Ибо я могу вовсе не голословно утверждать, о мой вольнолюбивый кот, что я сделался главным любимцем моего хозяина, с тех пор как я повел себя так умно и услужливо. Краткое описание нашего образа жизни заставит тебя живо почувствовать привлекательность и благодатность моего теперешнего положения.

Утром мы – я и мой хозяин – встаем не слишком рано, но и не слишком поздно, то есть когда пробьет одиннадцать. При этом я должен заметить, что моя широкая мягкая постель устроена неподалеку от кровати барона, и мы храпим до того дружно и в унисон, что при внезапном пробуждении нельзя даже угадать, кто из нас храпел. Барон дергает колокольчик, и тотчас же появляется камердинер с чашкой дымящегося шоколаду для барона и фарфоровой миской, полной прекраснейшего сладкого кофе со сливками, – для меня. Надо сказать, что я опорожняю ее с неменьшим аппетитом, чем барон – свою чашку. После завтрака мы полчасика играем друг с другом – эти телесные упражнения не только полезны для нашего здоровья, но и придают бодрость нашему духу. Если погода хороша, барон обычно смотрит из окна на улицу и лорнирует прохожих. Если же их мало, есть еще другое развлечение, причем барон может предаваться ему целый час, нисколько не уставая. Под окном барона врыт камень необычного красноватого цвета, а в середине этого камня выбито углубление. Задача такова: плюнуть вниз столь искусно, чтобы попасть как раз в это углубление. Много и постоянно упражняясь, барон так наловчился, что он держит пари на попаданье с третьего раза и уже неоднократно выигрывал.

После этого развлечения наступает очень важный момент одевания. Об искусной прическе и завивке волос, а особенно о художественном вывязывании галстука барон заботится сам, не прибегая к помощи камердинера. Так как эти трудные операции продолжаются довольно долго, Фридрих пользуется этим, чтобы одеть и меня, то есть он моет мне шкуру губкой, намоченной в тепловатой воде, расчесывает щеткой длинные волосы, оставленные парикмахером в подобающих местах, и надевает на меня красивый серебряный ошейник, которым барон немедленно почтил меня, как только открыл мои добродетели.

Следующие часы мы посвящаем литературе и изящным искусствам. Иначе говоря, мы идем в ресторацию или в кафе, наслаждаемся бифштексом или карбонатом, выпиваем стаканчик мадеры и небрежно проглядываем свежие журналы и газеты. Затем начинаются предобеденные визиты. Мы посещаем какую-нибудь знаменитую актрису, певицу, чтобы сообщить ей последние новости, главным образом о том, как прошел чей-нибудь дебют накануне вечером. Достойно внимания, как ловко умеет барон Алкивиад фон Випп преподносить свои новости, чтобы постоянно поддерживать в дамах хорошее настроение. Врагу или хотя бы сопернице никогда не перепадает даже часть славы той знаменитости, в будуаре которой барон как раз находится. Бедняжку ошикали – высмеяли! А если уж никак нельзя промолчать о действительно имевших место бурных аплодисментах, барон непременно угостит хозяйку новой скандальной историйкой о сопернице, – ее так же охотно подхватывают, как и распространяют, для того чтобы надлежащей порцией яда преждевременно умертвить цветы венка.

Великосветские визиты к графине А., баронессе Б., посланнице В. и т. д. заполняют время почти до четырех часов; теперь барон покончил со своими основными делами и в четыре часа может спокойно сесть за стол. Это происходит обычно снова в ресторации. Встав из-за стола, мы идем в кафе, играем обычно партию на бильярде и потом, если позволяет погода, совершаем небольшую прогулку, я – всегда пешком, барон – иногда на лошади.

Так незаметно подходит время идти в театр: барон никогда не пропускает этих часов. Наверное, он играет в театре очень важную роль – ведь ему приходится не только знакомить публику со всей закулисной жизнью и с выступающими актерами, но и указывать, когда нужно хвалить, а когда бранить, да и вообще он направляет вкус на верную дорогу. Он чувствует к этому призвание от природы. Так как даже самым высокопоставленным особам из моего рода посещать театр по несправедливости категорически воспрещено, то часы спектакля – единственные, когда я разлучен с моим дорогим бароном и развлекаюсь сам, на свой собственный лад. Как это происходит и как я пользуюсь связями с левретками, английскими легавыми, мопсами и другими знатными особами – ты узнаешь в будущем, добрый мой Мурр.

После спектакля мы снова подкрепляемся, и барон с веселой компанией дает волю своему резвому нраву, иными словами, все говорят, все смеются и находят все поистине божественным, и никто толком не знает, что он говорит, над чем смеется и что восхваляет как «поистине божественное». Но в этом-то и вся изысканность беседы, вся общественная жизнь тех, кто, подобно моему хозяину, исповедует светский символ веры. Иногда же барон отправляется поздно ночью в какую-нибудь компанию, и уж там, должно быть, он совсем великолепен. Но об этом я ничего не знаю, так как барон еще никогда не брал меня с собой, и, наверное, у него есть на это достаточные причины. О том, как превосходно я сплю на мягкой постели вблизи барона, я тебе уже говорил.

Я только что описал тебе свой образ жизни; ну, скажи мне теперь, добрый мой кот, может ли мой ворчливый старый дядя обвинять меня в диком, беспутном поведении! Правда, я тебе уже признался – несколько месяцев тому назад у него были справедливые основания для всяческих упреков. Я связался со скверной компанией и находил особое удовольствие в том, чтобы без спросу врываться повсюду, особенно на свадебные пиры, и без всякого повода устраивать скандалы. Но все это происходило не по чистой склонности к диким потасовкам, а единственно по недостатку высшей культуры, каковую я не мог приобрести в доме профессора при тамошних порядках. Теперь все по-другому. Но – кого я вижу? Вон идет барон Алкивиад фон Випп! Он смотрит – где я, он свистит! Au revoir [[68]](#footnote-67), драгоценнейший!

С быстротою молнии Понто ринулся навстречу своему хозяину. Внешность барона вполне отвечала образу, который я нарисовал себе со слов Понто. Барон был очень высокого роста и не столько стройного, сколько сухопарого сложения. Платье, поза, походка, манеры – все могло сойти за образец последней моды, хотя и доведенной до фантастической крайности, что придавало барону несколько странный, необычный вид. В руке у него была маленькая, тоненькая палочка со стальной ручкой, и он заставил Понто несколько раз прыгнуть через нее. Как ни унизительно показалось мне это, однако я должен был признать, что у Понто, всегда необычайно сильного и ловкого, появилась теперь какая-то грация, которой я прежде никогда у него не замечал. В том, как барон шествовал странным, раскоряченным петушиным шагом, подтянутый, с выпяченной грудью, в том, как Понто прыгал возле него – то впереди, то сбоку, выделывая изящнейшие курбеты и удостаивая встречавшихся товарищей только самыми короткими и слегка надменными поклонами, – во всем этом было что-то хотя и неясное мне, но все же импонирующее. Я смутно ощутил, что именно разумел Понто под высшей культурой, и пытался, насколько мог, уяснить себе это. Однако задача оказалась не из легких, вернее, мои старания были совершенно тщетны.

Впоследствии я убедился, что перед некоторыми явлениями бессильны все теории, все измышления нашего духа и что познание их достигается лишь живой практикой; а высшая культура, приобретенная в утонченном обществе бароном Алкивиадом фон Випп и пуделем Понто, принадлежит именно к такого рода явлениям.

Барон Алкивиад фон Випп, проходя мимо, весьма пристально лорнировал меня. Мне померещилось, будто я прочел в его взоре любопытство и гнев. Может быть, он приметил разговор Понто со мной и принял это немилостиво? Мне стало немного боязно, и я поспешно поднялся вверх по лестнице.

Дабы исполнить до конца долг автобиографа, мне надобно вновь описать состояние моей души, и я не мог бы свершить это лучше, чем посредством нескольких возвышенных сочинений в стихах, какие с некоторых пор, как говорится, сыплются из меня, точно из рога изобилия.

Однако я предпочту...

*(Мак. л.)* ...растратил на эти глупые, жалкие игрушки лучшую часть моей жизни. И теперь ты жалуешься, старый безумец, и обвиняешь судьбу, коей ты перечил с дерзким упрямством! Какое тебе дело было до знатных господ, до всего этого мирка, над которым ты издевался, потому что считал его дурацким, а сам был дураком из дураков? Тебе надо было держаться своего ремесла, да, своего ремесла, строить органы и не разыгрывать колдуна и прорицателя. Они не украли бы ее у меня; моя жена осталась бы со мной; как заправский работник я сидел бы у станка, и дюжие молодцы стучали бы и колотили вокруг меня, и мы создавали бы органы, которые звучали бы лучше всех органов на свете и не посрамили бы своего строителя. Кьяра! Может быть, резвые мальчуганы уже висли бы у меня на шее, может быть, я уже качал бы на коленях хорошенькую дочурку. Дьявол! Что мешает мне сейчас же убежать отсюда и пуститься на поиски моей утраченной жены по всему свету?» С этими словами маэстро Абра-гам, который вел этот разговор сам с собой, швырнул начатую им небольшую механическую куклу вместе с инструментами под стол, вскочил и стремительно зашагал взад и вперед. Мысль о Кьяре, теперь почти никогда его не покидавшая, вызвала болезненную скорбь в его душе, и как тогда с появлением Кьяры для него началась высшая жизнь, так и сейчас одно воспоминание о ней подавило в нем бунт земных чувств против того, что он осмелился заглянуть дальше своего ремесла и заняться настоящим искусством. Он раскрыл книгу Северино и долго смотрел на милую Кьяру. Затем, словно лунатик, утративший способность чувствовать и автоматически повинующийся лишь внутреннему внушению, маэстро Абрагам подошел к ящику в углу комнаты, очистил его от нагроможденных на нем книг и вещей, открыл его, вынул стеклянный шар, всю аппаратуру, необходимую для таинственного эксперимента с Невидимой девушкой, укрепил шар на тонком шелковом шнурке, спускавшемся с потолка, и расставил все в комнате так, как было нужно для скрытого оракула. И только когда все было готово, он очнулся от этого полуобморочного сна наяву и весьма удивился тому, что он сделал. «Ах, – громко простонал он, – ах, Кьяра, бедная моя Кьяра! Никогда не услышу я вновь, как возвещает мне твой голос о том, что сокрыто в глубочайших тайниках человеческого сердца! Одно мне утешение на земле, одна надежда – могила!»

Тут стеклянный шар закачался взад и вперед, и послышался мелодический звук, будто дыханье ветерка коснулось струн арфы. Но скоро звук обратился в слова:

*Пулно, жизнь еще не вся,*

*Вдалеке надежда светит,*

*Луч дрожит, во тьме скользя,*

*Трудно, мастер, жить на свете,*

*Душат старой клятвы сети?*

*Веруй! Выведет стезя!*

*Уврачует раны эти*

*Та, чьих слез забыть нельзя.*

«О милосердное небо! – пробормотал старик трясущимися губами. – Это она сама, это она говорит со мной с высоты небесной; ее уже нет среди людей!» Тут снова послышался мелодический звук и еще тише, еще отдаленнее зазвучали слова:

*Не подвластен смерти тот,*

*Чья любовь, как жизнь, богата,*

*Кто в слезах встречал восход,*

*Дольше видит свет заката.*

*Близок час твой: все утраты,*

*Все печали он сметет.*

*Смей, верши, исполни свято*

*Все, что небо ниспошлет!*

То усиливаясь, то вновь затихая, сладостные звуки убаюкали старика, и сон осенил его своими черными крылами. Но во тьме, сияя прекрасной звездой, ему снилось минувшее счастье, и Кьяра вновь лежала в его объятиях, и оба вновь были молоды и счастливы, и никакие злые духи не омрачали их любви.

(Издатель должен заметить благосклонному читателю, что здесь кот снова начисто выдрал несколько макулатурных листов, и оттого в этой истории, полной пробелов, снова образовался пробел. Но, судя по номерам страниц, недостает только восьми колонок, где, по-видимому, нет ничего особенно важного, так как последующее, в общем, достаточно согласуется с предыдущим. Итак, дальше идет:)

...не мог ждать. Князь Ириней был заклятый враг всяких необыкновенных происшествий, особенно же когда от его собственной персоны требовалось поближе ознакомиться с делом. Поэтому он взял из табакерки двойную понюшку, как делал обычно во всех критических случаях, уставился на лейб-егеря знаменитым, пронзающим фридриховским взглядом и сказал:

– Лебрехт, уж не лунатик ли ты? Видишь призраки, поднимаешь какой-то непотребный шум!

– Светлейший государь, – ответил очень спокойно егерь, – велите прогнать меня взашей, как самого что ни на есть негодяя, коли я вам рассказал не всю правду, до самой точки! Я повторяю вам без страху, без утайки: Руперт – распоследний мошенник.

– Как, Руперт? – воскликнул князь, разгневанный донельзя. – Мой старый кастелян, пятнадцать лет верно служащий княжескому дому, никогда не допустивший ржавчины ни на одном замке, ни разу не позабывший вовремя отпереть и вовремя запереть двери, и он – мошенник? Лебрехт, ты с ума сошел! В тебя вселился бес! Сто тысяч дья..!

Князь запнулся, как всегда, когда он ловил себя на проклятиях, противных всем княжеским благоприличиям. Лейб-егерь воспользовался этим мгновеньем и поспешил вставить:

– Светлейший государь изволите горячиться и ругаться так страшно, а все ж молчать нельзя и правду сказать надобно.

– Кто горячится? – сказал князь, успокоившись. – Кто ругается? Ослы ругаются! Я желаю, чтобы ты повторил мне все как можно короче, дабы я мог изложить суть дела на тайном заседании моим советникам для подробного обсуждения и постановления о необходимых мерах. Ежели Руперт и вправду мошенник, то... ну, это мы увидим потом.

– Я ж говорил, – начал лейб-егерь, – когда я вчера с факелом провожал фрейлейн Юлию, тот самый человек, что уже давно здесь повсюду шатается, прошмыгнул мимо нас. Постой, думаю я, уж я поймаю тебя, дьявола; провожаю я, стало быть, милую фрейлейн наверх, тушу свечку и становлюсь в темное место. Прошло немного времени, и тот человек вылезает из кустов и стучится в дверь. Я подкрадываюсь туда. Вот дверь открывается, и выходит девушка, и с этой девушкой чужак исчезает в доме. Это была Нанни. Вы ведь знаете, светлейший государь, красотку Нанни, ну ту, что у госпожи советницы?

– Coquin! [[69]](#footnote-68) – воскликнул князь. – С высокими венценосными особами не говорят о «красотке Нанни»; но продолжай, mon fils! [[70]](#footnote-69)

– Да, красотка Нанни, – продолжал егерь, – и я никак не думал, что за ней водятся такие глупости. Стало быть – просто любовные делишки, и больше ничего, думаю я себе, и невдомек мне, что тут кроется еще что-то. Так и стою возле дома. Прошло немало времени, госпожа советница возвратилась домой, и только это она вошла в дом, как наверху открывается окно и выскакивает чужак – до чего ж проворно! – и прямехонько на красивые гвоздики и левкои, те, что за оградой; сама фрейлейн Юлия за ними ходит, точно за малыми ребятами. Садовник – тот прямо разбушевался, он на дворе ждет с разбитыми горшками и хотел сам подать жалобу светлейшему государю. Но я его не впустил, потому как бездельник уже спозаранку под мухой...

– Лебрехт, это слишком смахивает на имитацию, – перебил князь лейб-егеря, – то же самое происходит в опере господина Моцарта, называемой «Свадьба Фигаро», которую я видел в Праге. Не уклоняйся от истины, егерь!

– Но я каждое словечко могу подтвердить под личной присягой, – продолжал Лебрехт. – Молодчик свалился, и я хотел было его схватить, но он быстрее молнии вскочил и помчался что есть духу – куда? Ну как вы думаете, светлейший князь, куда он помчался?

– Я ничего не думаю, – ответил важно князь, – не тревожь меня докучными вопросами о моих мыслях, егерь, и повествуй спокойно, пока не завершишь свою историю! Тогда уж я начну мыслить.

– Прямо в нежилой павильон улепетнул тот человек, – продолжал егерь. – Да, нежилой! И только постучался в двери, внутри стало светло и к нему навстречу выходит не кто иной, как честный и верный господин Руперт, вводит чужака в дом и снова накрепко запирает двери. Вот видите, светлейший повелитель, Руперт водится с чужеземными опасными гостями, и замышляют они что-то недоброе, иначе б не прятались. Кто знает, на что они метят; может, эти негодяи подстерегают здесь в тихом, спокойном Зигхартсгофе моего светлейшего князя?

Так как князь Ириней считал себя необыкновенно значительной княжеской персоной, то естественно, что ему по временам чудились всяческие дворцовые интриги и злокозненные преследования. Поэтому от последнего открытия егеря словно камень лег ему на сердце, и на несколько мгновений он погрузился в глубокое раздумье.

– Егерь, ты имеешь резон, – сказал он затем, вытаращив глаза. – Какой-то никому не ведомый человек шатается тут по ночам, в нежилом павильоне горит свет – все это подозрительнее, чем кажется поначалу. Жизнь моя в руках божьих; однако ж меня окружают верные слуги, и ежели б кто из них положил живот свой за меня, я б непременно щедро одарил его семью. Разнеси это меж моих людей, любезный Лебрехт! Тебе ведомо, княжеское сердце недоступно малейшей боязни, малейшему страху смерти, но есть долг перед народом. Для него должно мне сохранить себя, особенно ж пока престолонаследник еще несовершеннолетен. Посему я не оставлю замка прежде, чем интрига в павильоне не будет пресечена. Лесничему вместе с доезжачими и прочим составом лесного ведомства повелеваю прибыть немедля сюда, а всем моим людям – вооружиться. Павильон тотчас же окружить, дворец запереть наглухо. Позаботься обо всем этом, любезный Лебрехт! Сам я пристегну охотничий нож; ты же насыпь пороху в мои пистолеты, да смотри не забудь спустить курки, а то как бы не случилось беды. И пусть меня уведомят, как только пойдут на приступ павильона и вынудят заговорщиков сдаться, дабы я мог удалиться во внутренние покои! Пленных, прежде чем они предстанут пред троном, обыскать заботливейшим образом, не ровен час кто-либо из них, отчаявшись... Однако чего ты стоишь, чего ты на меня глаза вытаращил, чего ты улыбаешься? Что это значит, Лебрехт?

– Э, светлейший повелитель, – ответил лейб-егерь с лукавой миной, – я думаю, совсем незачем вызывать лесничего и его людей.

– Почему? – спросил князь, рассердившись. – Я примечаю, ты осмеливаешься мне перечить? А опасность нарастает с каждым часом! Тысяча дья..! Лебрехт, живей на коня. Лесничий, его люди, ружья – все должны немедля явиться!

– Но они уже здесь, светлейший повелитель! – сказал лейб-егерь.

– Как? Что? – воскликнул князь, так и оставшись с открытым ртом, дабы дать выход своему изумлению.

– Только стало светать, – продолжал егерь, – я уже был у лесничего. Павильон давно уже окружили, оттуда и кошка не выскочит, не то что человек.

– Лебрехт, ты отменный егерь и верный слуга княжеского дома, – сказал растроганный князь. – Ежели ты избавишь меня от сей опасности, ты можешь твердо уповать на почетную медаль, каковую я самолично измыслю и велю отчеканить из серебра или золота тотчас же, как возьмут павильон приступом, сколько б людей там ни полегло.

– Только прикажите, светлейший повелитель, – сказал лейб-егерь, – и мы сейчас же примемся за дело. То есть мы выломаем двери павильона, скрутим эту шваль, которая там хозяйничает, и все будет кончено. Да, да, я уж поймаю молодчика, который от меня так часто ускользал, этого проклятого прыгуна, который непрошеным гостем расположился в павильоне, как у себя дома, этого мошенника, который беспокоит фрейлейн Юлию...

– Что за мошенник беспокоит Юлию? – спросила советница Бенцон, входя в комнату. – О чем вы говорите, добрый Лебрехт?

Торжественно и многозначительно, словно неся какое-то великое и небывалое бремя, требующее напряжения всех духовных сил, князь прошествовал к советнице. Он взял ее руку, нежно пожал и затем мягким голосом заговорил:

– Бенцон, даже самое полное одиночество, совершеннейшее уединение не отвращает опасности от княжеской главы. Таков жребий князей: ни беспредельная кротость, ни великая доброта сердца не защитит их от зависти, воспламеняющей жажду власти в груди изменников-вассалов. Бенцон, чернейшая измена подъяла против меня свою змееволосую медузью главу; вы застаете меня в момент величайшей опасности. Но вскоре наступит и сама катастрофа; быть может, я буду обязан сему верному слуге моею жизнью, моим троном. А если мне предназначено другое – то да свершится моя судьба. Я знаю, Бенцон, вы сберегли ваши чувства ко мне, и подобно тому королю в трагедии немецкого поэта, коей недавно принцесса Гедвига испортила мне чай, я могу благородно воскликнуть: «Но вы моя... Не все еще погибло!» Поцелуйте меня, милая Бенцон! Дорогая Мальхен, ведь мы все те же и пребудем все теми же. Боже милосердный, кажется, от душевного смятения я несу вздор? Будем мужественны, моя возлюбленная! Когда изменники будут схвачены, я обращу их во прах единым взором. Лейб-егерь, начинайте приступ павильона!

Лейб-егерь поспешно рванулся к дверям.

– Стойте! – воскликнула советница. – Что за приступ? Какого павильона?

По приказанию князя лейб-егерю пришлось снова дать точный отчет о всем происшествии.

Но чем дальше рассказывал лейб-егерь, тем, казалось, внимательнее слушала Бенцон. Когда он закончил, советница воскликнула, смеясь:

– Ну, это самое забавное недоразумение, какое только возможно! Я прошу вас, всемилостивейший повелитель, немедленно отослать лесничего и его людей по домам. О заговоре не может быть и речи; вам не грозит ни малейшая опасность, ваша милость. Неизвестный обитатель павильона уже ваш пленник.

– Кто? – спросил князь, донельзя удивленный. – Какой несчастный обитает в павильоне без моего разрешения?

– В нем, – прошептала Бенцон на ухо князю, – скрывается принц Гектор.

Князь отпрянул на несколько шагов, как будто внезапно пораженный ударом невидимой руки; затем он воскликнул:

– Кто? Как? Est-il possible! [[71]](#footnote-70) Бенцон, я сплю? Принц Гектор? – Взгляд князя упал на лейб-егеря, в полном ошеломлении мявшего в руках свою шляпу. – Егерь, – закричал на него князь, – убирайся! Лесничего, людей – прочь, прочь, по домам! Чтоб я не видел ни одного человека! Бенцон, – обратился он затем к советнице, – добрая Бенцон, можете ли вы вообразить? Лебрехт назвал принца Гектора молодчиком и мошенником! Несчастный! Но пусть это останется между нами; это – государственная тайна. Однако скажите, объясните же мне, как могло случиться, что принц, заявив, будто он уезжает, на самом деле спрятался здесь, словно какой-то искатель приключений?

Советница Бенцон поняла, что переполох, устроенный лейб-егерем, помогает ей выйти из немалого затруднения. Уверенная, что она поступит неразумно, открыв князю присутствие принца в Зигхартсгофе и тем более его покушение на Юлию, она все же сочла прежнее положение нетерпимым, так как оно могло стать угрожающим для Юлии и для тех отношений, которые сама Бенцон поддерживала с крайним трудом. Теперь же, когда лейб-егерь открыл убежище принца и тому грозило быть извлеченным оттуда не слишком-то почетным образом, Бенцон вправе была выдать его князю, не подвергая Юлию опасности. Итак, она объяснила князю, что, вероятно, любовная ссора с принцессой Гедвигой вынудила принца объявить о своем внезапном отъезде и спрятаться со своим преданным камердинером по соседству с возлюбленной. Что в этом поступке есть нечто романтическое, необычайное, этого нельзя отрицать, но какой влюбленный не способен на это? Впрочем, камердинер принца весьма ревностный обожатель ее Нанни, и она-то и выдала тайну.

– О, – воскликнул князь, – хвала небу! Так это камердинер, а не принц прокрался к вам в дом и затем выпрыгнул в окно на цветочные горшки, подобно пажу Керубино. У меня уже возникали всяческие прискорбные соображения. Принц – и прыгает в окно? Это же ни с чем не сообразно!

– Э, – ответила Бенцон, лукаво смеясь, – я, например, знаю одну княжескую особу, не пренебрегавшую выходом через окно, когда...

– Вы досаждаете мне, Бенцон, – прервал князь советницу, – вы досаждаете мне необыкновенно. Умолчим о прошедшем, подумаем лучше, что предпринять с принцем? Вся дипломатия, все государственное право, все законы двора – все полетело к черту! Надлежит ли мне игнорировать его? Или обнаружить его как бы случайно? Надлежит ли мне... надлежит ли мне?.. Все вращается в моей голове, подобно вихрю. Вот что творится, когда венценосные главы унижают себя до странных романтических выходок.

Бенцон и вправду не знала, как установить дальнейшие отношения с принцем. Но и это затруднение было устранено. Прежде чем советница успела ответить князю, вошел старый кастелян Руперт и передал князю сложенную записочку, уверяя с хитрой улыбкой, что она от одной высокой особы, которую он имел честь оберегать под замком неподалеку отсюда.

– Итак, тебе было известно, Руперт, – весьма милостиво обратился князь к старику, – что... Ну, я всегда почитал тебя честным, верным слугою моего дома, а ныне ты доказал это своим поступком, ибо ты, как то и вменяли тебе в долг, повиновался приказаниям моего августейшего зятя. Я подумаю о твоем награждении.

Руперт поблагодарил в самых смиренных выражениях и удалился из комнаты.

Весьма часто случается в жизни, что тот или иной человек представляется окружающим особенно честным и добродетельным как раз в ту пору, когда он затевает какую-нибудь мошенническую проделку. Об этом и подумала Бенцон, знавшая о мерзком покушении принца и убежденная, что старый лицемер Руперт посвящен в эту тайну.

Князь вскрыл записку и прочел:

«*Che dolce pi&#249;, che pi&#249; giocondo stato*

*Saria, di quel d'un amoroso core?*

*Che viver pi&#249;! felice e pi&#249; beato,*

*Che ritrovarsi in servit&#249; d'Amore?*

*Se non fosse l'huom sempre stimulato*

*Da quel sospetto rio, da quel timore,*

*Da quel martir, da quella frenesia,*

*Da quella rabbia, detta gelosia.*

В этих стихах великого поэта Вы, князь, найдете причину моего таинственного поступка. Я считал себя отвергнутым той, кому я поклоняюсь, в ком все мое благословение и надежда, для кого пылает страстный жар в моей воспламененной груди. Но, о счастье! Я убедился в благосклонности судьбы; я знаю с недавних пор, что я любим, и выхожу из своего убежища. Любовь и счастье, да будет это девизом, которым я возвещаю о себе! Вскоре я смогу приветствовать Вас, о мой князь, со всей сыновней почтительностью.

*Гектор* ».

Быть может, благосклонный читатель не посетует, если в этом месте биограф на несколько мгновений оставит повествование и поместит здесь свой перевод этих итальянских стихов. Они значили примерно следующее:

*Что слаще и прекраснее на свете*

*Огня любви, что жжет нас и возносит?*

*Какие цепи трепетней, чем эти,*

*Надетые Амуром, смертный носит?*

*Да разглядит он умысел в навете,*

*У духов тьмы совета да не спросит,*

*Да не взрастит то дьявольское семя,*

*Что ревностью зовут, что правит всеми!*

Князь очень внимательно прочитал записку дважды, трижды, и чем больше он в нее вчитывался, тем мрачнее хмурил он лоб.

– Бенцон, что это с принцем? – спросил он наконец. – Вирши, итальянские вирши к державному главе, венценосному тестю, вместо ясного и разумного объяснения? Что это означает? Какая-то бессмыслица! По-видимому, принц возбужден совершенно неподобающим образом. Стихи говорят, насколько я уразумел, о счастье любви и о муках ревности. Что желает сказать принц этой ревностью? Ради всех святых, к кому мог он здесь ревновать? Скажите мне, любезная Бенцон, отыщете ль вы в этой записке принца хотя бы искру здравого смысла?

Бенцон ужаснулась скрытому значению слов принца, легко отгаданному ею после того, что случилось вчера в ее доме. Но вместе с тем она невольно подивилась ловкой увертке, к которой прибегнул принц, чтобы беспрепятственно выйти из своей засады. Далекая от мысли хотя бы намеком открыться в этом князю, она в то же время ломала себе голову над тем, как бы извлечь побольше выгод из создавшегося положения. Крейслер и маэстро Абрагам – вот кого она опасалась, так как они, по ее мнению, могли расстроить ее тайные планы, и против них она считала необходимым пустить в ход оружие, которое вложил в ее руки случай.

Бенцон напомнила князю, что она сказала ему о страсти, вспыхнувшей в сердце принцессы. От проницательного взгляда принца, продолжала она, настроение принцессы столь же мало могло ускользнуть, как и странное, эксцентрическое поведение Крейслера, давшее ему достаточный повод заподозрить какую-нибудь безрассудную связь. Это и объясняет, почему принц преследовал Крейслера насмерть, почему он, полагая, что убил капельмейстера, избегал встреч с принцессой, повергнутой в скорбь и отчаяние, но потом, проведав, что Крейслер жив, вернулся обратно и тайно наблюдал за невестой. Только к Крейслеру, ни к кому другому, относится ревность, о которой говорится в стихах принца, и тем необходимее и благоразумнее было бы всячески не допускать в будущем пребывания Крейслера в Зигхартсгофе, так как он и маэстро Абрагам, по-видимому, куют заговор, направленный против всего княжеского двора.

– Бенцон, – сказал очень серьезно князь, – я взвесил ваши слова о недостойной склонности принцессы и не могу им поверить. Княжеская кровь струится в жилах принцессы.

– Вы думаете, всемилостивейший государь, – горячо воскликнула Бенцон, покраснев от гнева до корней волос, – вы думаете, что женщина княжеской крови способна лучше всякой другой укрощать удары своего пульса, самую жизнь в своих жилах?

– Вы сегодня в весьма странном расположении духа, советница! – раздраженно сказал князь. – Я повторяю: коль в сердце принцессы и разгорелась какая-нибудь страсть, то это был только болезненный припадок, так сказать, судорога – ведь она страдает спазмами, – которая очень скоро прошла бы. Что же касается Крейслера, то это весьма занятная личность, которой не хватает лишь должного лоску. Я не могу почитать его способным на столь наглую дерзость, как желание приблизиться к принцессе. Он дерзок, но совсем по-иному. Согласитесь же со мной, Бенцон, что по причине его странного нрава именно принцесса не удостоилась бы его внимания, ежели вообще мыслимо, чтобы столь высокая особа могла снизойти до любви к нему. Ибо, Бенцон, – entre nous soit dit, – для него мы, венценосные особы, не столь уж много значим, и именно это его смехотворное и нелепое заблуждение лишает его способности пребывать при дворе. Пусть он и живет себе вдали. Но вернись он, я скажу ему от всего сердца «добро пожаловать»! Ибо не только довольно того, как я узнал от маэстро Абрагама... Да! Маэстро Абрагама вы сюда не вмешивайте, советница! Заговоры, им замышляемые, всегда клонились ко благу княжеского дома. Что же намеревался я сказать?.. Да, не только довольно того, что капельмейстер, как доложил мне маэстро Абрагам, принужден был бежать отсюда неподобающим образом, хотя и был благосклонно мною принят, но и, кроме всего иного, он был и есть весьма смышленый человек, который забавляет меня, невзирая на свои сумасбродные повадки, et cela suffit! [[72]](#footnote-71)

Советница окаменела от внутренней ярости, увидав, что ей так холодно указали место. Никак того не ожидая, она наткнулась на подводный риф там, где надеялась спокойно плыть по течению.

Со двора внезапно донесся сильный шум. В сопровождении большого отряда эрцгерцогских гусар в ворота въезжали длинной вереницей экипажи. Из них вышли обер-гофмаршал, президент, советники князя и некоторые знатные лица из Зигхартсвейлера. Оказывается, там было получено известие, что в Зигхартсгофе разразилась революция, посягающая на жизнь князя, и вот эти верные вассалы вместе с другими почитателями двора прибыли, дабы сплотиться вокруг державной особы, и привели с собой защитников отечества, которых они с превеликим трудом вымолили у губернатора.

Оглушенный бурными заверениями собравшихся, что ради спасения всемилостивейшего государя они готовы пожертвовать душой и телом, князь не мог и рта раскрыть. Только было собрался он наконец начать, как вошел офицер, командовавший отрядом, и спросил, каков будет план кампании.

Таково уж свойство человеческой природы: если опасность, повергшая нас в ужас, на наших глазах превращается в пустое, ничтожное чучело, это всегда вызывает недовольство. Мы радуемся, когда мы счастливо избежали подлинной опасности, а не тогда, когда спаслись от мнимой.

Так и теперь князь едва мог сдержать свое раздражение, свою досаду, вызванные понапрасну поднятым шумом. Мог ли он, смел ли он сказать, что вся эта суматоха возникла из-за свидания камердинера с горничной, из-за романической мелочной ревности влюбленного принца? Он прикидывал в уме так и сяк, но молчание залы, исполненное тревожного ожидания и прерываемое лишь мужественным, сулящим победу ржаньем гусарских лошадей, оставленных на дворе, свинцовой тяжестью давило на него.

Наконец он откашлялся и весьма патетически начал:

– Господа, чудесное вмешательство неба... Что вам угодно, mon ami? [[73]](#footnote-72)

Этим вопросом к гофмаршалу князь перебил свою речь. Действительно, гофмаршал то и дело кланялся и взглядом давал понять, что у него есть какое-то секретное важное сообщение. Его известили, что принц Гектор только что велел доложить о себе.

Чело князя прояснилось; он увидел, что о мнимой опасности, колебавшей его трон, можно сказать очень кратко и единым мановением волшебного жезла превратить достопочтенное собрание в придворный прием. Так он и поступил.

Немного спустя вошел принц Гектор в блестящей, парадной форме, красивый, сильный, гордый, словно юный бог-дальновержец. Князь сделал несколько шагов ему навстречу, но тотчас же отпрянул, будто пораженный молнией. Сразу вслед за принцем Гектором в залу вскочил принц Игнатий. Княжеский отпрыск становился, к сожалению, с каждым днем все глупее и бестолковее. К несчастью, ему необыкновенно понравились гусары во дворе, и он упросил одного из них дать ему саблю, сумку и кивер и нацепил на себя все это великолепие. Подпрыгивая, будто верхом на лошади, он с саблей наголо скакал по зале, громыхая ножнами по полу, и при этом смеялся и хихикал необычайно весело.

– Partez, d&#233;campez! Allez-vous en, tout de suite! [[74]](#footnote-73) – громовым голосом закричал князь, сверкая глазами на испуганного Игнатия, и тот немедленно убрался.

У присутствующих достало такта не заметить принца Игнатия и всей этой сцены.

Князь, изливая солнечное сияние своей прежней доброты и благосклонности, обменялся с принцем несколькими фразами, и затем оба они, князь и принц, обошли по кругу собравшихся, обращаясь то к тому, то к другому с любезным словом. Прием был закончен, ибо все остроумные, глубокомысленные разговоры, которые в таких случаях затеваются, были исчерпаны, и князь вместе с принцем направился в покои княгини, а потом и в покои принцессы, так как принц настаивал на том, чтобы сделать сюрприз дорогой невесте. Там они застали и Юлию.

С поспешностью самого пылкого влюбленного принц подлетел к принцессе, без конца прижимал нежно ее руку к губам, клялся, что он жил только мыслями о ней, что несчастное недоразумение доставило ему адские муки, что он не мог бы больше вынести разлуку с той, кого он боготворит, что теперь ему открылось все небесное блаженство.

Гедвига встретила принца с непринужденной веселостью, ей вовсе не свойственной. Она приняла нежные ласки принца так, как и подобает невесте, не спешащей идти навстречу желаниям жениха, она даже не преминула слегка подшутить над принцем и его тайником, уверяя, что вряд ли можно представить себе более милое и прелестное чудо, чем превращение болвана для чепчика в голову принца, ибо она приняла голову, появлявшуюся в окне павильона, за болвана для чепчика. Это дало повод ко всяким милым поддразниваниям влюбленной пары, казалось, веселившим даже князя. Только теперь он окончательно поверил, что Бенцон сильно ошиблась насчет Крейслера, так как, по его мнению, любовь Гедвиги к красивейшему из мужчин обнаружилась достаточно ясно. Ум и красота принцессы, казалось, редкостно и полно расцвели, как это бывает у счастливых невест. Юлия же, напротив, как только увидела принца, вся задрожала от охватившего ее страха. Бледная как смерть, стояла она, потупив глаза, не в силах пошевелиться, едва держась на ногах.

Прошло довольно много времени, прежде чем принц повернулся к ней со словами:

– Фрейлейн Бенцон, если не ошибаюсь?

– Подруга принцессы с самого раннего детства – почти сестра.

Когда князь произносил эти слова, принц схватил руку Юлии и тихо-тихо прошептал ей:

– Все мои слова предназначались тебе!

Юлия пошатнулась; от мучительного страха у нее выступили слезы из-под ресниц; она упала бы, если бы принцесса не подставила ей кресла.

– Юлия, – шепнула Гедвига, наклонившись к бедняжке, – соберись с силами! Разве ты не догадываешься о жестокой борьбе, которую я веду?

Князь открыл двери и крикнул, чтоб принесли Eau de Luce [[75]](#footnote-74).

– Этого у меня нет при себе, – сказал входивший в эту минуту маэстро Абрагам, – но есть эфир. Кто-нибудь упал в обморок? Тогда и эфир поможет.

– Входите скорей, маэстро, – ответил князь, – и помогите фрейлейн Юлии!

Но как только маэстро Абрагам вошел в залу, случилось нечто неожиданное. Бледный как привиденье, уставился принц Гектор на органщика; казалось, волосы у него встали дыбом от страха, холодный пот выступил на лбу. Откинувшись всем телом, он сделал шаг вперед и простер руки к маэстро, похожий на Макбета в ту минуту, когда ужасный окровавленный призрак Банко внезапно занимает пустое место за столом. Маэстро спокойно вытащил свой флакончик и хотел подойти к Юлии.

Это как будто снова вернуло принца к жизни.

– Северино, вы ли это? – воскликнул он глухим голосом, в глубочайшем ужасе.

– Конечно, – ответил маэстро Абрагам, нимало не теряя спокойствия и нисколько не меняясь в лице. – Мне приятно, что вы вспомнили меня, всемилостивейший государь; я имел честь в оные времена в Неаполе оказать вам небольшую услугу.

Маэстро сделал еще один шаг вперед; тогда принц схватил его за руку, силой оттащил в сторону, и тут между ними произошел краткий разговор. Находившиеся в зале ничего в нем не поняли, так как он велся слишком быстро и на неаполитанском диалекте.

– Северино, как очутился у него портрет?

– Я его дал ему для защиты против вас.

– Он знает?

– Нет.

– Будете вы молчать?

– Покамест!

– Северино, все дьяволы вцепились в меня! Что значит «покамест»?

– Покамест вы будете послушны и оставите в покое Крейслера и эту девушку вот там.

Принц отпустил маэстро и подошел к окну.

Тем временем Юлия очнулась. Взглянув на органного мастера с непередаваемым выражением душераздирающей скорби, она скорее прошептала, чем сказала:

– О мой добрый, милый маэстро, может быть, вы меня спасете. Не правда ли, вам многое подвластно? Ваша наука может еще направить все к добру.

Маэстро Абрагаму почудилась в словах Юлии удивительнейшая связь с только что состоявшимся разговором, будто она в забытьи обрела дар высшего познанья, все поняла и узнала всю тайну.

– Ты – благочестивый ангел, – прошептал маэстро Юлии на ухо, – поэтому мрачный, адский дух греха не имеет над тобой никакой власти! Доверься мне вполне и собери все силы своей души! Помни о нашем Иоганнесе!

– Ах, – горестно воскликнула Юлия, – ах, Иоганнес! Он вернется, не правда ли, маэстро? Я увижу его опять?

– Конечно, – ответил маэстро и приложил палец к губам; Юлия поняла его.

Принц силился казаться непринужденным; он рассказал, что этот человек, кого, как он слышал, здесь называют маэстро Абрагамом, несколько лет тому назад в Неаполе был свидетелем одного очень трагического события, в котором он, принц, как приходится ему сознаться, сам был замешан. Теперь покамест еще не время рассказывать об этом событии; но в будущем он не собирается о нем умалчивать.

Бушевавшая в душе принца буря была слишком грозной, чтобы ее кипение не вырывалось на поверхность, и его расстроенное лицо, в котором не было ни кровинки, очень плохо согласовывалось с безразличной беседой, к каковой он теперь принуждал себя, чтобы выйти из критического положения. Принцессе лучше принца удалось преодолеть напряженность момента. С иронией, превращавшей даже подозрение и досаду в тончайшую злую насмешку, Гедвига все глубже завлекала принца в лабиринт его собственных мыслей. И принц Гектор, необыкновенно ловкий светский человек, к тому ж во всеоружии душевной развращенности, губительной для всего искреннего, честного, живого, не мог справиться с этим странным существом. Чем горячей говорила Гедвига, чем огненней и зажигательней сверкали молнии ее остроумной насмешки, тем смущенней и беспокойней чувствовал себя принц; наконец чувство это сделалось невыносимым, и он быстро удалился.

С князем случилось то, что обычно случалось с ним при таких обстоятельствах, – он просто не мог разобраться в происходящем. Он удовольствовался тем, что кинул принцу несколько незначительных французских словечек, на что принц ответил ему тем же.

Принц был уже у выхода, как вдруг Гедвига, вся переменившись, уставилась на пол и громко воскликнула:

– Я вижу кровавый след убийцы! – Затем, словно пробудившись от сна, она бурно прижала Юлию к своей груди и прошептала ей: – Дитя, мое бедное дитя, не поддавайся обольщению.

– Тайны, фантазии, химеры, романические бредни! – раздраженно процедил князь. – Ma foi [[76]](#footnote-75), я более не узнаю моего двора. Маэстро Абрагам, когда мои часы идут неверно, вы приводите их в порядок; я желал бы, чтоб вы здесь проверили, что повредилось в часовом механизме, ранее всегда исправном. Однако, кто этот Северино?

– Под этим именем, – ответил маэстро, – я показывал в Неаполе мои оптические и механические фокусы.

– Так-так, – сказал князь, пристально взглянул на маэстро, как будто у него на языке вертелся какой-то вопрос, но тут же быстро повернулся и молча покинул комнату.

Можно было подумать, что Бенцон находится у княгини, но это было не так. Она направилась к себе домой.

Юлии захотелось выйти на свежий воздух. Маэстро повел ее в парк, и, прогуливаясь под почти уже облетевшими деревьями, они говорили о Крейслере и его жизни в аббатстве. Так достигли они рыбачьей хижины. Юлия вошла в нее, чтобы немного отдохнуть. Письмо Крейслера лежало на столе; маэстро полагал, что в письме нет ничего, что было бы неприятно Юлии. Пока Юлия читала письмо, ее щеки все больше розовели, и нежное пламя, отблеск душевной радости, засияло в ее глазах.

– Вот видишь, мое милое дитя, – приветливо сказал маэстро, – как добрый дух моего Иоганнеса утешает тебя, говоря с тобою издалека? Тебе ли бояться опасных покушений, если постоянство, любовь и мужество защищают тебя от преследований злодея?

– Милосердный боже! – воскликнула Юлия, подняв взор к небу. – Защити меня только от себя самой! – И вся задрожала, испугавшись своих слов, которые невольно у нее вырвались. В полуобмороке она опустилась в кресло и закрыла руками пылающее лицо.

– Я не понимаю тебя, девушка, – сказал маэстро. – Должно быть, ты сама себя не понимаешь, и поэтому тебе надо заглянуть в самую глубину своей души и ничего не таить от себя, не щадить себя из сострадания!

Маэстро предоставил Юлии погрузиться в глубокое раздумье и, скрестив руки, взглянул на таинственный стеклянный шар. Грудь его стеснило страстное томление; охваченный чудесным предчувствием, он воскликнул:

– Да, тебя я должен спросить, с тобой должен я посоветоваться, с тобой, прекрасная, божественная тайна моей жизни! Заговори же, дай услышать твой голос! Ты ведь знаешь, что я никогда не был человеком земных побуждений, хотя многие считали меня таковым. Нет, во мне горела сама любовь, а она-то и есть Мировой Дух, в моей груди тлела искра, которую дыхание твоего существа раздуло в светлое радостное пламя. Не думай, Кьяра, что это сердце, постарев, оледенело и уже не бьется так быстро, как в ту пору, когда я тебя вырвал у бесчеловечного Северино; не думай, что я сделался менее достойным тебя, чем в ту пору, когда ты сама меня отыскала! Да, позволь услышать твой голос, и я с быстротой юноши побегу на сладостный звук его, пока я тебя не найду, и мы снова будем жить вместе и в волшебном содружестве займемся высшей магией, к которой волей-неволей приобщаются все, даже самые обыкновенные люди, вовсе не веря в нее. И если ты не странствуешь уже здесь по земле, в телесном облике, и твой голос заговорит со мною из царства духов, я буду счастлив и этим и, конечно, сделаюсь еще более искусным, чем был когда-либо. Но нет, нет! Как звучали утешающие слова твои, обращенные ко мне?

*Не подвластен смерти тот,*

*Чья любовь, как жизнь, богата,*

*Кто в слезах встречал восход,*

*Дольше видит свет заката.*

– Маэстро! – воскликнула Юлия, поднявшись в кресле и с глубоким удивлением прислушиваясь к словам старика. – С кем вы разговариваете? Что вы хотите делать? Вы назвали имя Северино. Милостивое небо, ведь принц, очнувшись от своего испуга, называл вас этим именем? Какая ужасная тайна здесь сокрыта?

При этих словах Юлии старик мгновенно вышел из своего мечтательного оцепенения, и, чего уже давно не случалось, на его лице появилась странная, почти шутовская улыбка, удивительно противоречившая его чистосердечной натуре и придававшая всему его облику черты какой-то зловещей карикатуры.

– Прелестная фрейлейн, – чуть не прокричал он резким голосом, каким ярмарочные фокусники обычно выхваляют свое искусство, – прелестная фрейлейн, немного терпенья. Скоро я буду иметь честь здесь, в рыбачьей хижине, показать вам удивительнейшие вещи: танцующих человечков, маленького турка, знающего, сколько лет каждому из присутствующих, автоматические манекены, эмбрионы чудовищ, загадочные картинки, оптические зеркала – все это превосходные, магические игрушки; но я не назвал самой лучшей. Моя Невидимая девушка тут. Заметьте, она уже сидит там наверху в стеклянном шаре! Но она еще не говорит, она еще устала от далекого путешествия; она вернулась прямым путем из дальней Индии. Через несколько дней моя Невидимка придет в себя, и тогда мы ее спросим насчет принца Гектора, насчет Северино и других событий прошедшего и будущего. А теперь просто слегка позабавимся!

Произнеся это, маэстро с юношеской быстротой и живостью запрыгал по комнате, завел машины, установил магические зеркала. И во всех углах все ожило и задвигалось: манекены зашагали и завертели головами, и механический петух захлопал крыльями и закукарекал, а попугаи пронзительно затараторили, сама Юлия и маэстро стояли как бы в комнате и одновременно на дворе. Хотя Юлия достаточно привыкла к таким шуткам, все же на нее напал страх перед этим жутким настроением органщика.

– Маэстро, – воскликнула она в полном испуге, – что это на вас нашло?

– Дитя, – ответил органный мастер уже в своей серьезной манере, – дитя, нечто прекрасное и удивительное; но вовсе не годится, чтобы ты об этом знала. Однако пусть эти ожившие мертвецы разыгрывают здесь свои шутки, а я тем временем поведаю тебе о многих вещах то, что нужно и полезно тебе знать. Моя дорогая Юлия, твоя собственная мать закрыла от тебя свое материнское сердце; я хочу тебе его открыть, загляни в него, чтобы ты могла узнать об опасности, в какой ты находишься, и избавиться от нее. Итак, во-первых, узнай без дальнейших обиняков, что твоя мать твердо решила тебя ни мало ни много...

*(М. пр.)* ...покамест умолчать об этом. Кот юноша, будь скромен, подобно мне, и не излагай свои мысли всегда и немедленно стихами, если для этого достаточно простой честной прозы! Стихи в книге, написанной прозой, должны уподобляться салу в колбасе, то есть, вставленные там и сям маленькими кусочками, они придают всей начинке жирный блеск, больше сладостной прелести во вкусе. Я не страшусь, что поэтические коллеги почтут это уподобление пошлым и неблагородным, ибо оно заимствовано у нашего любимого лакомства, и воистину порою хорошее стихотворение также может пойти на пользу посредственному роману, как кусочек жирного сала – постной колбасе. Я говорю это как кот, получивший эстетическое образование и имеющий немалый опыт.

Какими бы недостойными и даже несколько жалкими не представлялись мне в свете моих прежних философских и моральных взглядов все поведение Понто, его образ жизни, его манера снискивать себе благосклонность хозяина, все же его непринужденные повадки, его элегантность, его грациозное легкомыслие в светском обхождении весьма подкупали меня. Изо всех сил хотел я убедить самого себя, что при моем научном образовании, при моей серьезности во всех делах и помыслах я стою на гораздо более высокой ступени, чем невежественный Понто, нахватавшийся там и сям лишь поверхностных знаний. Однако некое неистребимое чувство говорило мне совершенно явственно, что Понто везде оставит меня в тени; я чувствовал, что вынужден признать существование более знатного сословия и что пудель Понто принадлежит именно к нему.

Гениальную голову, подобную моей, всякий повод, всякое жизненное наблюдение всегда наталкивает на особенные, оригинальные мысли, и таким образом, тщательно обдумывая свои отношения к Понто, я предался различным, весьма значительным размышлениям, которые стоят того, чтобы ими поделиться.

«Отчего происходит, – спрашивал я сам себя, глубокомысленно приставив лапу ко лбу, – отчего происходит, что великие поэты, великие философы, гениальные во всех других случаях мудрецы в так называемом большом свете выказывают себя столь беспомощными? Они всегда торчат там, где они именно сейчас не к месту; они говорят, когда им как раз надобно бы молчать, и, напротив, молчат, когда надо говорить; своими стремлениями, противоположными сложившимся общественным установлениям, они повсюду задевают себя и других; короче, они схожи с тем, кто протискивается к воротам сквозь дружную толпу гуляющих веселых людей и, прокладывая себе дорогу очертя голову, нарушает весь порядок. Я знаю, что это приписывают недостатку светской цивилизованности, а ее не добудешь, сидя за письменным столом; но тем не менее я полагаю, что приобрести эту цивилизованность весьма легко и что эта непреодолимая беспомощность, конечно, должна иметь еще и другое основание.

Великий поэт и философ не был бы самим собой, если бы он не чувствовал своего духовного превосходства; но он не обладал бы этим глубоким чувством, свойственным каждому гениальному человеку, если б не понимал, что это превосходство не может быть признано, так как оно нарушает равновесие, а сохранение равновесия – главное стремление так называемого высшего общества. В нем каждый голос должен гармонически сочетаться с остальными голосами и составлять совершенный аккорд всего целого; а между тем голос поэта звучит диссонансом, и если при других обстоятельствах тон его, может быть, и очень хорош, то все же в этом случае он плох, ибо не согласуется со всем целым. Но хороший тон, равно как и хороший вкус, состоит в недопущении всего неуместного и неприличного.

Далее я полагаю, что дурное расположение духа, проистекающее из противоречия между сознанием своего превосходства и неуместностью своего появления, препятствует поэту или философу, неискушенному в высшем свете, познать его в целостности и воспарить над ним. Необходимо, чтобы поэт в это время не слишком переоценивал бы свое духовное превосходство, и коль скоро это ему удастся, то он не будет переоценивать и так называемую высшую светскую цивилизованность, сводящуюся всего-навсего к стараниям сгладить все острые углы и сделать все лица на одно лицо, и этим именно их обезличить. Тогда он, освободившись от дурного расположения духа, от всякой предвзятости, легко познает внутреннюю сущность этой цивилизованности и жалкие предпосылки, на которых она покоится, и уже это познание поможет ему ужиться в странном мире, требующем неукоснительного соблюдения законов этой цивилизованности.

По-особому обстоит дело с художниками, а также и с поэтами, писателями, кого иногда какой-нибудь вельможа. приглашает в свой круг, чтобы, отдавая дань обычаю, некоторым образом притязать на меценатство. К сожалению, обычно от этих художников немного попахивает ремесленничеством, и поэтому они или смиренны до низкопоклонства, или развязны до панибратства.

(*Примечание издателя* : Мурр, мне обидно, что ты так часто рядишься в чужие перья. И я не без основания опасаюсь, что от этого ты заметно потеряешь во мнении благосклонного читателя. Не исходят ли все эти размышления, которыми ты так чванишься, прямо из уст капельмейстера Иоганнеса Крейслера, и возможно ль вообще, чтобы ты накопил столько жизненной мудрости и даже так глубоко проник в самую удивительную тайну на свете – в душу сочиняющего человеческого существа?)

Но отчего бы, – размышлял я далее, – отчего бы гениальному коту, будь он поэт, писатель, художник, не возвыситься до познания высшей цивилизованности во всем ее значении и не упражняться в грациозности и красоте ее внешних проявлений? Разве природа даровала преимущества этой цивилизованности единственно лишь собачьему племени? Если мы, коты, и отличаемся кое в чем от гордого племени в одежде, в образе жизни, в поведении и обычаях, то и мы также наделены плотью и кровью, обладаем телом и духом, и в конце концов, чтобы поддержать свое существование, собаки поступают так же, как мы. Они тоже должны есть, пить, спать и т. д., и им тоже больно, когда их бьют. Что же отсюда следует?»

Я решил последовать наставлениям моего юного и знатного друга, пуделя Понто, и в полном согласии с самим собой направился обратно в комнату моего хозяина. Взгляд, брошенный в зеркало, убедил меня, что уже одно серьезное намерение устремиться к высшей цивилизованности выгодно сказалось на моем внешнем виде. Я созерцал себя с глубочайшей благосклонностью. Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой? Я замурлыкал.

На другой день я не удовольствовался сидением перед дверьми и пошел гулять по улице. Вдруг я заметил издали господина барона Алкивиада фон Випп, а позади него вприпрыжку бежал мой резвый друг Понто. Ничего не могло быть для меня более кстати; я приосанился как только мог и шагал навстречу моему другу с той неподражаемой грацией, которой бессильно обучить всякое искусство, ибо она есть бесценный дар благодетельной природы. Но – о ужас! И надо же было так случиться! Едва барон увидел меня, он остановился и с превеликим вниманием обозрел меня в лорнет, а затем воскликнул: «Aleons, Понто, куси, куси! Кошка, кошка!»

И Понто, неверный друг, полон неистовства, ринулся на меня. Испуганный, вконец смятенный позорным предательством, я не был способен ни к какому отпору, и сжался как только мог, чтобы спастись от острых зубов Понто, с рычанием оскалившего на меня свою пасть. Но Понто несколько раз прыгнул через меня, не прикасаясь ко мне, и шепнул мне на ухо: «Мурр, не будь дураком, не бойся! Ты же видишь, что это – несерьезно. Я делаю это, чтоб доставить удовольствие моему господину». Понто повторил свои прыжки и даже сделал вид, будто схватил меня за ухо, но не причинил мне ни малейшей боли. «Теперь, – прошептал он мне наконец, – теперь убирайся, друг Мурр! Вон туда в погреб!» Я не заставил его повторять мне это дважды и помчался туда с быстротой молнии. Хоть Понто и уверял меня, что он не причинит мне никакого вреда, все же мне было боязно, ибо в таких затруднительных случаях нельзя знать наверное, достаточно ли сильна дружба, чтоб превозмочь природный инстинкт.

Когда я юркнул в погреб, Понто продолжал разыгрывать комедию, начатую им для потехи своего хозяина. Он рычал и лаял перед окошком погреба, совал морду в решетку и притворялся, будто он совершенно вне себя от того, что я ускользнул от него и он не может погнаться за мной. «Видишь ли, – проговорил мне Понто в погреб, – видишь ли, понимаешь ли ты теперь благодетельные плоды высшей цивилизованности. Сейчас я выказал себя перед моим хозяином любезным и послушным, не сделав тебя моим врагом, славный Мурр. Так поступает настоящий светский человек, предназначенный судьбой быть орудием в руках сильнейшего. Если его натравливают, он должен нападать, но притом с такой ловкостью, чтобы кусаться только в том случае, когда это выгодно ему самому». Тут я поспешил открыть моему юному другу Понто, что я жажду позаимствовать кое-что от его высшей цивилизованности, и спросил, может ли он меня немного натаскать и каким образом это сделать. Понто задумался на несколько минут и затем выразил мнение, что лучше всего было бы, если б сейчас же, с самого начала, передо мной раскрылась ясная, живая картина высшего света, где он теперь имеет удовольствие вращаться, а для этого нет лучшего средства, чем визит вместе с ним к прелестной Бадине, принимающей у себя в часы театра. Бадина состояла в услужении у княжеской гофмейстерины на должности левретки.

Я нарядился как мог лучше, вновь перелистал Книгге и пробежал несколько самоновейших комедий Пикара, чтобы в случае необходимости блеснуть знанием французского языка, и затем спустился к дверям. Понто не заставил себя долго ждать. Мы дружно шествовали по улице и скоро дошли до ярко освещенного дома Бадины, где я застал разношерстное сборище пуделей, шпицев, мопсов, болонок, левреток; одни сидели в кругу, а другие, отделившись, образовали группы по углам.

Сердце мое так и затрепетало при виде этого чуждого общества враждебных мне существ. Кое-кто из пуделей поглядывал на меня с презрительным удивлением, как будто хотел сказать: «Что ему нужно, низкорожденному коту, от нас, возвышенных созданий?» То и дело какой-нибудь элегантный шпиц скалил на меня зубы, и я примечал, как охотно вцепился бы он мне в глотку, если б приличия, достоинство и нравственное воспитание гостей не воспрещали бы всякую потасовку как нечто неподобающее. Понто вывел меня из замешательства, представив меня прекрасной хозяйке, с грациозной снисходительностью уверившей меня, что она весьма рада видеть у себя стяжавшего такую славу кота. И только теперь, когда Бадина сказала мне несколько слов, кое-кто из гостей с истинно собачьим добродушием одарил меня несколько большим вниманием, со мной даже стали заговаривать и вспоминать о моем сочинительстве, о моих произведениях, порою их немало услаждавших. Это льстило моему тщеславию, и я почти не замечал, что меня спрашивают, не внимая моим ответам, что хвалят мой талант, не имея о нем никакого представления, что мои шедевры превозносят, ничего не понимая в них. Некий природный инстинкт подсказал мне отвечать так же, как меня спрашивали, то есть, не обращая внимания на эти вопросы, кратко отделываться от всего такими общими фразами, чтобы они относились к чему угодно, но только бы не выражали никакого мнения и не уводили бы разговор с гладкой поверхности вглубь. В промежутке Понто передал мне, как один старый шпиц уверял его, что для кота я довольно забавен и выказываю способности к настоящему светскому разговору. Подобное ободрило бы и самого мрачного скептика!

Жан Жак Руссо, приводя в своей «Исповеди» историю о том, как он украл ленту и, не сознавшись в воровстве, увидел, что за совершенную им кражу наказывают бедную ни в чем не повинную девушку, признается, как тяжело ему даже упоминать об этом глубочайшем падении. Теперь я как раз нахожусь в одинаковом положении с этим почитаемым автобиографом. Хоть и нет у меня на совести никакого преступления, все ж, если я хочу быть правдивым, я не смею умолчать о великом безумстве, совершенном мною в тот же вечер, которое на долгое время расстроило меня, вернее сказать, даже грозило моему рассудку. Но не так же ль тяжко признаваться в безумстве, как и в преступлении? И не тяжелей ли это подчас?

Прошло немного времени, и мне стало до того не по себе, я впал в такую угрюмость, что мне захотелось быть подальше отсюда, под печкой хозяина. Ужаснейшая скука беспредельно угнетала меня и наконец заставила позабыть всякие приличия. Тихо-тихо прокрался я в дальний угол, дабы предаться дремоте, навеваемой на меня жужжавшими вокруг разговорами. Эти разговоры, которые я единственно из-за моего дурного расположения и, по-видимому, заблуждаясь, счел самым бессмысленным и пошлым празднословием, представлялись мне теперь монотонным стуком мельницы, весьма способствовавшим приятному, бездумному состоянию, обычно переходящему вскоре в крепкий и здоровый сон. И вдруг эта бездумная дремота, это краткое забытье было нарушено: яркий свет блеснул перед моими сомкнутыми веками. Я поднял взор – прямо передо мной стояла грациозная, снежно-белая барышня-левретка, прекрасная племянница Бадины по имени Минона, как я узнал позже.

– Сударь, – сказала Минона тем сладко-лепечущим голосом, что так звучно отдается во взволнованной груди пламенного юноши, – сударь, вы сидите здесь в таком одиночестве, вы кажетесь таким скучающим. Как жаль! Что говорить, такому великому глубокому поэту, как вы, сударь, витающему в высших сферах, суета обычной светской жизни непременно покажется пошлой и поверхностной.

Я поднялся несколько обескураженный, и меня огорчило, что кошачье естество, оказавшись сильнее всех теорий хорошего тона, заставило меня против воли высоко выгнуть спину, как это свойственно котам, что, как мне показалось, заставило Минону усмехнуться.

Но тотчас же, спохватившись и вспомнив об изысканных манерах, я схватил лапку Миноны, осторожно прижал ее к губам и заговорил о вдохновенных мгновениях, ниспосылаемых поэту. Минона внимала мне со столь разительными знаками сердечнейшего участия, столь благоговейно, что я возносился все выше и выше в сферы чистой поэзии и под конец уже не очень-то понимал сам себя. Минона, вероятно, поняла меня столь же мало, однако восхитилась необыкновенно и уверяла, что познакомиться с гениальным Мурром было уже издавна ее заветным желанием и что этот миг – один из самых счастливых и божественных в ее жизни... Что мне сказать вам? Вскоре оказалось, что Минона прочла мои творения, мои самые возвышенные стихи, – нет, не только прочла, но и постигла их высший смысл. Многие из них она знала наизусть и декламировала их с воодушевлением и грацией, перенесшими меня в рай поэзии, главным образом по причине того, что самая очаровательная из всего собачьего рода заставила меня выслушивать *мои* стихи.

– Несравненная, очаровательная фрейлейн, – воскликнул я в полном упоении. – Вы постигли мою душу, вы выучили наизусть мои стихи. О небеса, есть ли более высокое блаженство для стремящегося ввысь поэта?

– Мурр, – прошептала Минона, – гениальный кот, неужто вы могли подумать, что чувствительное сердце, поэтическая душа может остаться чуждой вам? – При этих словах Минона вздохнула от полноты чувств, и этот вздох окончательно сразил меня... Могло ли быть иначе? Я влюбился в прекрасную девицу-левретку до того, что в полном безрассудстве и ослеплении не заметил, как она внезапно оборвала беседу в момент моего наивысшего воодушевления и принялась болтать с каким-то жеманным олухом-мопсом о самых пошлых материях, как она избегала меня весь вечер, не заметил ее манеры обхождения со мной, каковая должна была бы ясно показать мне, что ее похвалы, ее энтузиазм относились только к ее собственной персоне. Короче, я был и оставался ослепленным безумцем, я преследовал прекрасную Минону где и как только мог, воспевал ее прекраснейшими стихами, сделал ее героиней нескольких грациозно-сумасбродных повестей, проникал в салоны, куда я не был вхож, и пожинал за все это и досаду, и глумления, и столько болезненных обид!

Часто в трезвые часы вся нелепость моего поведения представала перед моими глазами. Но затем мне снова совсем некстати приходили на ум Тассо и многие более новые поэты рыцарского образа мыслей, которым только и нужно было поклоняться какой-нибудь недосягаемой властительнице их дум, посвящать ей свои песни и молиться на нее, как ламанчец на свою Дульсинею! И тогда мне снова хотелось оказаться не хуже и не прозаичнее Тассо, и я клялся химере моих любовных грез, грациозной белой девице-левретке, в нерушимой верности и рыцарском служении ей до гроба. Охваченный этим страшным помешательством, я бросался из одного безумства в другое, и даже мой друг Понто, после того как он серьезно предостерегал меня от бессовестных мистификаций, с какими ко мне подступались со всех сторон, счел необходимым отказаться от меня. Кто знает, что сталось бы со мною, если бы меня не вела счастливая звезда. Именно эта счастливая звезда повелела случиться тому, что однажды поздним вечером я крался к прекрасной Бадине, только чтобы увидеть возлюбленную Минону. Но я нашел все двери запертыми, и сколько я ни ждал, сколько ни надеялся при какой-нибудь оказии проскользнуть в дом, все было тщетно. Полный любви и томления в сердце, я хотел по крайности возвестить очаровательнице о моем присутствии и начал под окном одну из нежнейших испанских мелодий, какие когда-либо были сочинены и исполнены. Слушать ее, наверное, было весьма горестно. Я слышал лай Бадины, а в паузах и звучанье сладостного голоса Миноны. Но, прежде чем я успел остеречься, быстро открылось окно, и на меня вылилось полное ведро ледяной воды. Можно вообразить, с какой поспешностью отбыл я в свою отчизну. Но огненный пыл в сердце и ледяная вода на шкуре так плохо гармонируют между собой, что из этого никогда не может произойти ничего хорошего и скорей всего ты схватишь лихорадку. Так случилось и со мной. Когда я вошел в дом хозяина, меня немилосердно бил озноб. По бледности моего лица, по моим потухшим глазам, по огненному жару моего лба, моему неровному пульсу хозяин догадался о моей болезни. Он дал мне теплого молока, которое я усердно вылакал, ибо от жажды у меня язык прилип к гортани, затем я завернулся в покров моего ложа и всецело предался овладевшей мною болезни. Сперва я впал во всяческие лихорадочные фантазии об аристократической культуре, левретках и т. д., затем сон мой сделался более спокойным и наконец таким глубоким, что я, могу утверждать без преувеличения, проспал три дня и три ночи кряду.

Когда я наконец пробудился, я почувствовал себя легко и свободно; я был совершенно исцелен от лихорадки, а также – о чудо! – и от моей безрассудной любви. Совершенно ясно представилось мне все сумасбродство, в какое вовлек меня пудель Понто. Я увидел, как нелепо было мне, урожденному коту, затесаться в общество собак, которые глумились надо мной, ибо они не могли постичь моего духа, и которые по ничтожеству их натуры цеплялись за форму и, следовательно, могли дать мне только скорлупу без ядра. Любовь к наукам и искусствам пробудилась во мне с новой силой, и домашний уют у моего хозяина привлекал меня более, чем когда-либо. Наступили зрелые месяцы мужчины, я был уже не кот-бурш и не изысканный щеголь. Я живо чувствовал, что нельзя оставаться ни тем, ни другим, воспитывая себя так, как того требуют лучшие и более высокие цели жизни.

Мой хозяин должен был уехать и счел за лучшее поместить меня на время к своему другу, капельмейстеру Иоганнесу Крейслеру. Так как с этой переменой моего местопребывания начинается новая эпоха моей жизни, то я закончу здесь повествование о теперешней, из которого ты, о кот юноша, извлечешь столько добрых уроков для твоего будущего.

*(Мак. л.)* ...донеслись глухие отдаленные звуки, и он услышал, как монахи шагают по коридору. Когда Крейслер окончательно пробудился, он увидал из окна, что церковь освещена, и услышал невнятное пенье хора. Должно быть, случилось нечто необычайное, ведь полуночные часы уже отслужили, и Крейслер по праву мог предположить, что кого-нибудь из старых монахов настигла внезапная, неожиданная смерть, а теперь его по монастырскому уставу перенесли в церковь. Он быстро набросил на себя одежду и поспешил туда.

В коридоре он встретил заспанного отца Гилария, который громко зевал и пошатывался направо и налево, не в состоянии сделать ни одного твердого шага; вместо того чтобы держать зажженную свечу стоймя, он наклонил ее так, что воск, треща, капал вниз и грозил каждую минуту загасить свечу.

– Достопочтенный господин аббат, – забормотал Гиларий, когда Крейслер окликнул его, – это против прежних порядков. Заупокойная ночью, в этот час! И только потому, что брат Киприан настаивает на этом! Domine, libera nos de hoc monacho! [[77]](#footnote-76)

Крейслеру наконец удалось убедить полусонного Гилария, что он не аббат, а капельмейстер; с большим трудом выпытал он у монаха, что ночью, неизвестно откуда, в церковь принесли тело человека, которого знал здесь, казалось, только брат Киприан и который, по-видимому, был не простого звания, так как аббат по настойчивой просьбе Киприана согласился немедленно отслужить заупокойную с тем, чтобы за первой заутреней последовал вынос тела.

Крейслер пошел за Гиларием в церковь, представлявшую от скудного освещения жуткое зрелище.

Горели только свечи большого металлического паникадила, свисавшего с высокого потолка перед главным алтарем, и оттого мерцающее сиянье едва освещало неф церкви, а в боковые приделы проникали только таинственные блеклые лучи, и статуи святых, пробужденные ими к жизни, казалось, шевелились, как призраки, и подступали все ближе. Под паникадилом, там, где было почти светло, стоял открытый гроб, в котором лежал труп, и монахи, окружавшие его, сами казались бледными и неподвижными мертвецами, восставшими в полночь из могил. Глухими хриплыми голосами тянули они монотонно строфы реквиема, и когда они умолкали, были слышны только зловещие порывы ночного ветра и странное дребезжание высоких окон, как будто духи умерших стучались в дом, где они слышали благочестивое отпевание. Крейслер приблизился к толпе монахов и узнал в мертвеце адъютанта принца Гектора.

И тут ожили мрачные духи, так часто завладевавшие им, и безжалостно впились острыми когтями в его израненную грудь.

– Злорадный дух, – обратился он сам к себе, – ты влечешь меня сюда, дабы этот окоченевший труп вновь начал кровоточить, – недаром говорят, что раны убитого открываются, когда к нему подходит убийца. Ого, разве я не знаю, что он весь истек кровью в тот лихой час, когда искупал свои грехи на смертном одре? В нем не осталось больше ни одной ядовитой капли ее, которой он мог бы отравить убийцу, если б тот и подошел к нему, а Иоганнеса Крейслера меньше всех; ибо ему нет дела до гадюки, которую он раздавил, когда она уже высунула свое острое жало, дабы насмерть ранить его. Открой глаза, мертвец, дай мне твердо взглянуть тебе в лицо, и ты убедишься, что я непричастен к греху. Но ты не в силах сделать это. Кто велел тебе ставить на карту жизнь против жизни? Зачем играл ты со смертью, если боялся пойти ва-банк? Однако черты твои, тихий и бледный юноша, полны кротости и доброты; смертные муки стерли след нечестивого греха с твоего прекрасного лика, и я мог бы сказать, если б это теперь подобало, что перед тобой открылись врата небесного милосердия, ибо в твоей груди жила любовь. Как? Что, если я ошибся? Что, если не ты и не злой демон, нет, а моя счастливая звезда подняла на меня твою руку, дабы избавить от ужасного рока, подстерегающего меня в темной глубине сцены? Так открой же глаза, бледный юноша, и своим отрешенным взглядом открой мне все, все, и пусть я даже изойду в скорби по тебе или погибну от ужасного, неодолимого страха, что черная тень, которая крадется за мной, вот-вот настигнет меня. Да, посмотри на меня, но нет, нет, ты мог бы взглянуть на меня, как Леонгард Этлингер, и я подумал бы, что ты – это он сам, и тогда тебе пришлось бы броситься вместе со мною в пропасть, откуда ко мне часто доносится его глухой замогильный голос. Как? Ты усмехнулся? Твои щеки, твои губы порозовели? Тебя не настигло оружие смерти? Нет, нет, я не схвачусь с тобою вновь; но...

Разговаривая сам с собой, Крейслер машинально опустился на одно колено и стоял опершись на другое обоими локтями. Но тут он стремительно вскочил и, наверное, совершил бы какой-нибудь странный, дикий поступок; однако в то же мгновение монахи умолкли, и мальчики в хоре запели под мягкий аккомпанемент органа Salve regina [[78]](#footnote-77). Гроб закрыли, и монахи торжественно покинули храм. Тогда мрачные духи отступились от бедного Иоганнеса, и в полном изнеможенье от скорби и боли, опустив голову, он последовал за монахами. Только хотел он пройти через двери, как вдруг из темного угла поднялась какая-то фигура и стремительно двинулась на Крейслера.

Монахи остановились, и огонь их свечей осветил дюжего коренастого парня лет восемнадцати-двадцати; лицо его, искаженное дикой злобой, можно было назвать по меньшей мере безобразным; черные волосы в беспорядке свисали на лоб, разорванная куртка из голубого полосатого полотна едва прикрывала его наготу, а матросские штаны, тоже полотняные, доходили ему только до икр, так что видно было его геркулесово сложение.

– Проклятый, кто велел тебе убить моего брата? – вскричал парень так дико, что голос его прокатился эхом по всей церкви, как тигр бросился на Крейслера и мертвой хваткой сжал ему горло.

Но прежде чем Крейслер, ошеломленный неожиданным нападением, успел подумать о защите, отец Киприан уже встал между ними и сказал звучным, властным голосом:

– Джузеппе, нечестивый грешник, что делаешь ты здесь? Где ты оставил старуху? Сейчас же убирайся вон! Достопочтенный господин аббат, велите позвать монастырских служек, пусть они выкинут этого кровожадного парня из монастыря.

Как только Киприан встал перед Джузеппе, тот немедленно отпустил Крейслера.

– Ну-ну, – пробормотал он ворчливо, – нечего поднимать такой шум из-за того, что человек хочет отстоять свои права, господин святой. Я ведь уже сам ухожу; вам незачем натравливать на меня монастырских служек. – С этими словами парень быстро выскочил через дверцу, которую позабыли закрыть; через нее-то он, наверное, и прокрался в церковь. Пришли монастырские служки, однако решили не преследовать дерзкого среди глубокой ночи.

Натура Крейслера была такова, что стоило ему победоносно справиться с бурей, угрожавшей уничтожить его, как напряжение от необыкновенных, таинственных событий оказывало на него благотворное действие.

Поэтому аббату показалось удивительным и странным то спокойствие, с каким Крейслер, придя к нему на другой день, рассказал о потрясающем впечатлении, которое произвел на него при таких странных обстоятельствах вид трупа человека, пытавшегося его убить и убитого им самим при справедливой самообороне.

– Ни церковь, ни мирской закон, дорогой Иоганнес, – сказал аббат, – не могут вменить вам в наказуемую вину смерть этого нечестивого человека. Но вы еще долго не сможете преодолеть упреков совести, говорящей вам, что было бы лучше пасть самому, нежели умертвить противника, и это доказывает, что предвечному благоугоднее, чтобы вы принесли в жертву собственную жизнь, чем сохранили ее ценой столь поспешного и кровавого деяния. Но оставим это до поры, ибо я собираюсь говорить с вами об ином, о более неотложном деле.

Кому из смертных дано предвидеть, как наступающее мгновение может повернуть ход событий? Давно ли я был твердо убежден, что для блага вашей души ничто не могло бы быть полезнее, нежели отречение от мира и вступление в наш орден. Ныне я другого мнения и советовал бы вам – как ни милы и дороги вы мне теперь – поскорее покинуть аббатство. Не тщитесь понять меня, дорогой Иоганнес, не спрашивайте, отчего я, вопреки своему убеждению, покоряюсь чужой воле, грозящей опрокинуть все, что воздвигнул я с таким трудом. Вам следовало быть глубже посвященным в тайны церкви, чтобы уразуметь меня, пожелай я даже раскрыть вам побудительные причины моего образа действий. Но все же с вами я могу говорить свободнее, чем с кем-либо другим. Итак, знайте же, что в скором времени пребывание в аббатстве уже не даст вам благодетельного покоя, как это было ранее, более того, вашим глубочайшим стремлениям будет нанесен смертельный удар, и монастырь покажется вам пустынной, безотрадной темницей. Весь монастырский распорядок меняется; свободе, сочетавшейся с благочестивыми нравами, положен конец, и мрачный дух фанатичного монашества с неумолимой строгостью воцарится скоро в этих стенах. О мой Иоганнес, вашим светлым песнопениям более не суждено возвышать наш дух до истинного благочестия; хор будет распущен, и скоро мы ничего не услышим, кроме монотонных респонзорий, которые нехотя будут тянуть старшие братья хриплыми, фальшивыми голосами.

– И все это происходит по настоянию пришлого монаха Киприана? – спросил Крейслер.

– Все благодаря ему, – почти сокрушенно ответил аббат, опустив глаза, – и не я повинен в том, что ничего нельзя изменить. Однако, – добавил торжественно аббат после краткого молчания, возвысив голос, – все, что споспешествует укреплению величественного здания церкви, должно свершиться, и никакая жертва не чрезмерна для этого.

– Кто же этот высокий могущественный святой? – с досадой спросил Крейслер. – Кто повелевает вами, кто смог единым словом остановить разбойника, напавшего на меня?

– Вы, дорогой Иоганнес, – ответил аббат, – замешаны в тайну, которая покамест не вполне открыта вам... Но вскоре вы узнаете больше, вероятно, больше, чем я знаю сам, и узнаете от маэстро Абрагама. Киприан, кого мы сейчас еще называем нашим братом, – из числа избранных. Он удостоился вступить в непосредственное общение с предвечными силами небесными, и нам уже теперь приходится чтить в нем святого. А что касается этого отчаянного парня, который прокрался в церковь во время отпевания и схватил вас за горло, то он просто полусумасшедший цыган, наш управляющий уже несколько раз велел крепко высечь его за то, что он крал у крестьян в деревне жирных кур из курятников. Чтобы прогнать его, как раз не требовалось никакого особого чуда. – Когда аббат произносил последние слова, в уголках его рта мелькнула и столь же быстро исчезла едва приметная ироническая усмешка.

Крейслера охватила глубочайшая горькая досада. Он понял, что при всех достоинствах ума аббата тот вел с ним лицемерную игру и что все резоны, которые он тогда приводил, дабы склонить его, Крейслера, уйти в монастырь, так же служили для прикрытия какого-то тайного намерения, как и те, что аббат выставлял теперь, пытаясь доказать обратное. Крейслер решил покинуть аббатство, чтобы вырваться из сетей всех этих опасных тайн, которые могли, останься он здесь долее, так запутать его, что ему не будет спасенья. Но только он подумал о том, что теперь ему можно возвратиться в Зигхартсгоф к маэстро Абрагаму и он снова увидит ее, снова услышит *ее* , *ее* , единственную мысль свою, он почувствовал сладкое томление в груди – вестник пламенной любви.

Глубоко задумавшись, Крейслер брел по главной аллее парка, когда его догнал отец Гиларий и тотчас же начал:

– Вы были у аббата, капельмейстер, и он сказал вам все! Ну что, был я прав? Мы все пропали. Этот преподобный комедиант – эх, вырвалось словечко! Но мы наедине! Когда он – вы знаете, кого я имею в виду, – в рясе явился в Рим, его папское святейшество тотчас же дал ему аудиенцию. Он упал на колени и поцеловал папскую туфлю. Но не подавая ни малейшего знака ко вставанию, его папское святейшество оставил его лежать целый час. «Пусть это будет твоей первой епитимьей», – закричал его святейшество, когда наконец разрешил ему подняться, и произнес длинную проповедь о греховных заблуждениях, в которые впал Киприан. После этого он уже в тайных покоях получил наставление и выступил в поход. Давно у нас святых не было. Чудо – ну, вы видели картину, Крейслер, – чудо, скажу я, получило свой настоящий вид только в Риме! Я только честный монах-бенедиктинец, дельный praefectus chori [[79]](#footnote-78), надеюсь, это вы не откажетесь признать, и с охотой пропускаю стаканчик нирштейнского или вюрцбургского во славу единой нашей спасительницы матери-церкви; утешаюсь лишь одним – что он недолго здесь останется. Его удел – странствовать. Monachus in claustro non valet ova duo: sed quando est extra, bene valet triginta [[80]](#footnote-79). Уж он-то наделает чудес. Смотрите, Крейслер, смотрите, вот он идет сюда по дорожке. Он увидел нас и уже сообразил, как ему кривляться.

Крейслер увидел монаха Киприана, который торжественной поступью, устремив пристальный взор в небо и молитвенно сложив руки, медленно приближался к ним по тенистой аллее, словно охваченный благочестивым экстазом. Гиларий быстро удалился, но Крейслер остался, погрузившись в созерцание монаха, у которого в лице, во всем существе было что-то странное, чуждое, казалось, отличавшее его от всех других людей. Великая, необычайная судьба оставляет на человеке зримые следы, и потому вполне можно было предположить, что чудесный жребий придал внешности Киприана ее теперешний вид.

В самозабвении монах, не заметив Крейслера, хотел было пройти мимо; но Крейслеру пришла охота заступить дорогу суровому посланцу его святейшества, врагу и гонителю самого дивного искусства на свете.

Он стал перед ним, говоря:

– Позвольте, ваше преподобие, принести вам мою благодарность. Единым словом вы вырвали меня из рук бродяги-цыгана, не то он задавил бы меня, словно украденную курицу.

Казалось, монах очнулся от сна; он провел рукою по лицу и долго не отводил взгляда от Крейслера, точно силился припомнить, кто перед ним. Но вот его лицо исказила грозная, непреклонная суровость, и с гневным пламенем в глазах он воскликнул громовым голосом:

– Дерзкий нечестивый человек! Ты заслужил, чтоб я оставил тебя погрязать в грехе! Не ты ли оскверняешь мирским бряцанием священную церковную службу, избраннейший столп веры нашей? Не ты ли обольщаешь суетными ухищрениями набожные души, кои отвращаются от божественного и предаются мирскому веселью в прельстительных песнях?

Крейслер оскорбился сумасбродными попреками, но безрассудная надменность монаха, разившего таким легковесным оружием, укрепила его дух.

– Если греховно, – сказал капельмейстер очень спокойно, твердо глядя монаху в глаза, – если греховно славить предвечного языком, дарованным нам им самим, дабы небесная милость эта пробуждала в нашей груди восторги пламеннейшего благоговения и, скажу более, познание незримого, – если греховно воспарить над земною юдолью на ангельских крылах песнопенья и стремиться к высочайшему в благочестивой любви и томлении – тогда, ваше преподобие, вы совершенно правы и я великий грешник. Однако позвольте мне быть противного мнения и неколебимо верить, что церковной службе недоставало бы истинного величия, священного воодушевления, если бы хору пришлось умолкнуть.

– Так моли Пречистую, – ответил монах строго и холодно, – пусть она снимет пелену с твоих глаз и дозволит тебе уразуметь твое святотатственное заблуждение.

– Некто спросил одного композитора, – возразил Крейслер, мягко улыбаясь, – как это у него выходит, что все его церковные композиции исполнены набожного вдохновения. На это благочестивый маэстро, дитя душою, ответил ему: «Когда у меня с моим сочинением что-то нейдет, я прочитываю несколько раз «Богородицу», расхаживая по комнате, и ко мне снова возвращаются мои темы». Тот же маэстро молвил о другом своем великом духовном творении: «Лишь сочинив уже до половины мою композицию, я заметил, что она как будто мне удается; никогда не был я так благочестив, как в ту пору, когда трудился над нею; каждый день я падал на колени и молил бога даровать мне силы для счастливого завершения моего труда». Мне сдается, ваше преподобие, что ни у этого маэстро, ни у старика Палестрины не было ничего греховного на уме, и только закоснелое в аскетическом ожесточении сердце не способно воспламениться высшим благочестием песнопений.

– Человечишка, – гневно вскричал монах, – да кто же ты таков, чтобы я препирался с тобой, тогда как тебе надлежит валяться во прахе? Убирайся из обители, не оскорбляй более ее святыни.

Донельзя возмущенный повелительным тоном монаха, Крейслер воскликнул запальчиво:

– А ты кто таков, сумасбродный монах, что желаешь вознестись над всем человечеством? Иль ты родился искупленным от греха? Иль тебя никогда не терзали мысли о преисподней? Иль ты никогда не сбивался со скользкой тропы, которую ты себе избрал? И если вправду Пресвятая Дева вырвала тебя из объятий смерти, которую ты, должно быть, вполне заслужил, совершив какое-нибудь злодейство, то милость эта была оказана тебе, дабы ты в смирении познал свои грехи и искупил бы их, а не бахвалился бы с дерзкой спесью милостью неба, пуще того – ореолом святости, который никогда тебе не будет ниспослан.

Монах впился в Крейслера испепеляющим взглядом, бормоча непонятные слова.

– Ну, гордый монах, – продолжал капельмейстер, все более распаляясь, – а когда ты еще носил вот это платье, – с этими словами он поднес к глазам монаха портрет, полученный им от маэстро Абрагама; но едва тот завидел его, как в неистовом отчаянии ударил себя обоими кулаками по лбу, испустив душераздирающий скорбный стон, словно пораженный насмерть.

– Убирайся *ты* из обители, *ты* , преступный монах, – воскликнул теперь Крейслер. – А уж если ты по пути встретишь некоего куроцапа, с которым ты водишь компанию, так скажи ему, что ты не можешь и не желаешь защищать меня в другой раз; но пусть он побережется и не протягивает свои лапы к моей глотке, не то я проткну его как жаворонка или как его брата; а уж насчет того, чтобы проткнуть, я... – Тут Крейслер ужаснулся самого себя; монах стоял перед ним оцепенелый, недвижный, все еще прижав кулаки ко лбу, не в силах вымолвить ни слова. Внезапно Крейслеру почудилось, будто в соседних кустах что-то шуршит и на него вот-вот набросится неистовый Джузеппе. Он ринулся прочь. Монахи как раз запели вечернюю молитву, и Крейслер поспешил в церковь, надеясь там успокоить свою до крайности смятенную, глубоко уязвленную душу.

Когда вечерня кончилась, монахи покинули хоры. Вот потухли и свечи. Мысли Крейслера обратились к благочестивым старым мастерам, которых он поминал в споре с Киприаном. Музыка, благоговейная музыка зазвучала в его душе: то пела Юлия, и буря утихла в его груди. Он хотел выйти через боковой придел, откуда двери вели в длинный коридор, оканчивавшийся лестницей, и по ней подняться к себе в комнату.

Когда Крейслер вошел в придел, какой-то монах с трудом поднялся с пола, где он лежал, распростершись перед чудотворным образом Марии. В сиянии неугасимой лампады Крейслер признал Киприана, но изможденного и жалкого, казалось, он только что очнулся от обморока. Крейслер протянул ему руку, желая помочь. Тогда монах заговорил тихим трепещущим голосом:

– Я узнаю вас, вы – Крейслер. Сжальтесь, не покидайте меня, помогите мне подняться вон туда, на ту ступень, я хочу сесть, сядьте и вы со мной рядом. Да услышит нас лишь всеблагая. Смилостивьтесь, окажите милосердие, – продолжал монах, когда они уселись на ступеньках алтаря. – Доверьте мне все, погибельный портрет достался вам от старого Северино, и вам известна вся эта ужасная тайна?

Прямодушно, ничего не тая, Крейслер уверил его, что портрет получен им от Абрагама Лискова, далее он безбоязненно поведал ему обо всем, что приключилось в Зигхартсгофе, и о том, что только сопоставив многие события, заключил о каком-то злодеянии; по видимости, портрет был живою памятью о нем и устрашающим обличеньем.

Монах, казавшийся необыкновенно потрясенным некоторыми местами рассказа Крейслера, молчал несколько мгновений. Затем, собравшись с силами, он начал окрепшим голосом:

– Вам известно слишком многое, Крейслер, и потому вы должны знать все. Так знайте же. Принц Гектор, ваш заклятый преследователь, – это мой младший брат. Оба мы отпрыски одного княжеского рода, и я унаследовал бы трон, если бы его не опрокинула буря времени. Разразилась война, и мы оба поступили в войско, и служба привела меня, а следом и моего брата, в Неаполь. В те годы я предавался всем порокам светской жизни, особенно же мною завладела необузданная страсть к женскому полу. У меня была любовница, некая танцовщица, столь же прекрасная, сколь и мерзостная душою, что не мешало мне волочиться за всеми распутными девками, какие только мне попадались.

Случилось так, что однажды, когда уже начинало смеркаться, я преследовал на Моло несколько созданий подобного рода. Я уж вот-вот настигал их, как вдруг над самым моим ухом чей-то голос пронзительно воскликнул: «До чего же премиленький шалопай, этот принц. Бегает за простыми девками, а ведь мог бы обниматься с раскрасавицей принцессой». Взор мой остановился на старой оборванной цыганке – несколько дней тому назад я видел, как ее уводили сбиры за то, что она в пылу ссоры сбила с ног своей клюкой продавца воды, хотя он и был дюж с виду. «Чего тебе от меня надо, старая ведьма?» – закричал я цыганке, но она тут же извергла на меня поток столь мерзкой, подлейшей брани, что немедля нас окружила праздная толпа, бешено хохотавшая над моим замешательством. Я хотел уйти, но старуха крепко ухватила меня за полу и, внезапно прервав сквернословие, вполголоса сказала мне, скривив свое гнусное лицо издевательской усмешкой: «Не спеши, милый принц, послушай лучше, что я тебе скажу про писаного ангелочка, что обезумел от любви к тебе». Сказав это, старуха насилу поднялась, крепко уцепившись за мою руку, и начала нашептывать мне о какой-то девице, писаной красавице, свежей, как ясное утро, к тому же еще невинной. Я счел старуху простой сводней и порешил отделаться от нее несколькими дукатами, ибо не собирался пускаться в новые похождения. Но она не взяла денег, а когда я удалился, громко смеясь, закричала мне вдогонку: «Ну, уходи, уходи, господин хороший. Скоро сам будешь искать меня с кручиной в сердце».

Минуло несколько дней; я не вспоминал более о цыганке, как вдруг однажды в месте гулянья, называемом Вилла Реале, мимо меня прошла девушка невиданной мною дотоле прелести. Я поспешил обогнать ее, и когда увидел ее лицо, мне показалось, что сияющие небеса неизреченной красоты разверзлись предо мною. Так думал я тогда, ибо был грешником, и то, что я теперь, когда мне не подобало бы слишком много говорить о земной красоте, да, верно, и не удалось бы, поверяю вам эти нечестивые мысли, послужит вам лучше всяких описаний дивных чар, коими предвечный украсил очаровательную Анджелу. Рядом с красавицей шла, или, лучше сказать, ковыляла, дама весьма преклонных лет, одетая с достоинством и отличная только своей необыкновенной толщиной да странной неуклюжестью. Хоть ее наряд был совершенно изменен, а лицо было частью скрыто под чепцом, я мгновенно признал в старой даме цыганку с Моло. Шутовская усмешка старухи, ее легкий кивок подтвердили мне, что я не ошибся.

Я глаз не мог свести с обольстительного чуда. Прелестная Анджела потупила взор, веер выскользнул из ее рук. Я быстро поднял его. Отдавая веер, я коснулся ее пальцев – они трепетали; пламень дьявольской страсти вспыхнул во мне, и я не предчувствовал, что уже наступил первый миг ужасного испытания, ниспосланного мне небом. Разум мой помутился, оцепенев, стоял я и едва не проглядел, как моя красавица и ее провожатая уселись в карету, ожидавшую в конце аллеи. Лишь когда карета тронулась, я опамятовался и бросился за ней, словно бешеный. Я поспел еще вовремя, чтобы заметить: карета остановилась перед домом на узкой уличке, идущей к площади Ларго делле Пьяне. Моя красавица вместе с провожатой сошли, и, так как карета немедля укатила, лишь только они скрылись в подъезде, я мог справедливо предположить, что это их жилище.

На площади Ларго делле Пьяне жил мой банкир, синьор Алессандро Сперци, и мне взбрело на ум, чего ради – сам не знаю, навестить его. Он полагал, что я пришел по делам, и начал весьма пространно разглагольствовать о моих обстоятельствах. Однако у меня на уме была только моя незнакомка, я не мог ни думать, ни слышать ни о чем, кроме нее, и вышло так, что вместо ответа на речи синьора Сперци я тут же поведал ему о моем обольстительном приключении. Синьор Сперци рассказал мне о моей красавице более, чем я мог предполагать. Один торговый дом в Аугсбурге каждые полгода переводил для нее на его имя изрядные деньги. Ее звали Анджела Бенцони, а старуху – госпожа Магдала Сигрун. В свой черед синьор Сперци обязан был сообщать аугсбургскому торговому дому все сведения о жизни девицы, и поскольку еще до того, как он стал управлять ее имуществом, ему было поручено руководить ее воспитанием, синьор Сперци в некотором роде мог почитаться опекуном девушки. По мнению банкира, она была плодом запретной связи между особами самого высокого звания.

Я выказал синьору Сперци свое удивление тем, что подобное сокровище могло быть доверено столь двоедушной старухе, которая шатается по улицам в грязных цыганских лохмотьях и, по всей вероятности, сводничает. На это банкир уверил меня, что не сыщется нянюшки верней и заботливей старухи, прибывшей сюда вместе с Анджелой, когда той минуло всего два года. А что старуха порою переряжается в цыганку, это лишь диковинная причуда, какую здесь, в краю карнавальной вольности, вполне позволительно ей извинить.

Я не смею, не должен распространяться. Старуха в своем цыганском обличье скоро отыскала меня и сама отвела к Анджеле, которая с краской милой девичьей стыдливости на лице открылась мне в своей любви. В своем заблуждении я все еще полагал, будто старуха – нечестивая торговка грехом, однако ж вскоре убедился в противном: Анджела была целомудренней и чище снега, и она, чьей прелестью думал я греховно упиться, заставила меня поверить в ее добродетель, которую ныне я, разумеется, должен счесть адским, дьявольским наваждением. Чем пуще и пуще разгоралась моя страсть, тем более и более поддавался я старухе, непрестанно нашептывавшей мне, что я должен сочетаться с Анджелой узами брака. Пусть до поры наше супружество и останется тайной, однако придет день, когда я смогу открыто возложить княжескую диадему на чело моей супруги. Ибо, как уверяла старуха, Анджела по знатности рода не уступает мне.

Мы обвенчались в капелле церкви Сан-Филиппо. Я мнил, что обрел небесное блаженство. Я разорвал все мои связи, я вышел в отставку, я не показывался более на тех сбррищах, где прежде дерзко предавался всяческим беспутствам. Но эта перемена в образе жизни и погубила меня. Танцовщица, брошенная мной, выследив, куда я ходил каждый вечер, открыла моему брату тайну моей любви, надеясь тем посеять семена своей будущей мести. Мой брат, прокравшись за мной к Анджеле, застал меня в ее объятиях. Гектор извинил на шуточный лад свою навязчивость и попрекнул меня, что я в чрезмерном своем себялюбии отказал ему даже в дружеском доверии; однако я слишком хорошо заметил, как он был поражен несравненной красотой Анджелы. Искра упала, пламень яростнейшей страсти разгорелся в его душе. Он приходил часто, правда, лишь в те часы, когда мог меня застать. И мне вдруг показалось, будто Анджела ответила его безумной любви. С тех пор фурии ревности раздирали мою грудь. Я познал все ужасы ада.

Однажды, когда я входил в покои Анджелы, мне послышался голос Гектора в соседней комнате. Сама смерть сжала мне сердце, я остановился как вкопанный. Внезапно Гектор, с пылающим лицом, дико вращая глазами, выскочил оттуда. «Проклятый, впредь ты уж не станешь мне поперек дороги», – вскричал он, выхватил кинжал и всадил его мне в грудь по рукоятку. Призванный на помощь хирург обнаружил, что удар пришелся прямо в сердце. Всеблагая удостоила меня своей милости: чудо даровало мне жизнь.

Последние слова монах проговорил тихим трепещущим голосом и затем, казалось, забылся в мрачном раздумье.

– А что сталось с Анджелой? – спросил Крейслер.

– Когда убийца пожелал насладиться плодами своего злодеяния, – ответил монах глухим замогильным голосом, – моя возлюбленная забилась в предсмертной судороге. Она умерла в его объятиях. Яд. – Сказав это, монах упал наземь и захрипел, словно умирающий.

Ударами колокола Крейслер поднял на ноги весь монастырь. Сбежались братья и перенесли бесчувственного Киприана в больничные покои.

На другое утро капельмейстер застал аббата в самом веселом расположении духа.

– Ха, ха, Иоганнес, – воскликнул он. – Вы не желали уверовать, что и в новейшие времена случаются чудеса, а сами совершили вчера в церкви удивительнейшее чудо. Скажите, что вы сделали с нашим надменным святым: он вдруг превратился в кающегося сокрушенного грешника, на него напал какой-то детский страх перед смертью, и он всей душой молит нас простить его за то, что он желал вознестись над нами? Того, кто принуждал вас к исповеди, вы, наверное, самого заставили исповедаться?

Крейслер не видел никаких причин скрывать подробности того, что произошло между ним и Киприаном. Поэтому он обстоятельно рассказал аббату обо всем, начав с прямодушной отповеди самонадеянному монаху, который попытался унизить священное искусство музыки, и закончив описанием ужасного состояния Киприана, когда тот вымолвил слово «яд». Затем Крейслер объявил, что он, собственно, все еще не знает, почему портрет, которого так боится принц Гектор, должен подобным же образом действовать и на Киприана. Точно так же ему совершенно непонятно, какими судьбами маэстро Абрагам оказался замешан в этих чудовищных событиях.

– Воистину, возлюбленный сын мой Иоганнес, – сказал аббат, приятно улыбаясь, – ныне мы предстоим друг другу совсем иначе, нежели незадолго перед тем. Неколебимый дух, твердое внутреннее убеждение и всему предпочтительнее глубокое, верное чувство, что скрывается, словно пророческое откровение, в груди нашей, – все это вместе способно достигнуть куда большего, нежели острейший ум, испытаннейший, всепроницающий взор. Ты подтвердил это, мой Иоганнес, употребив оружие, которое вложили в твои руки, не наставив тебя в его действии и употребив его столь искусно и в столь надлежащее мгновенье, что тут же поверг ниц врага, чьи хитроумные замыслы сокрушить было бы не так легко. Сам того не ведая, ты оказал услугу мне, монастырю, святой церкви нашей, услугу, благодетельные последствия коей необозримы. Теперь я могу и должен быть откровенным с тобою; я отвращаюсь от тех, кто хотел повредить тебе, введя меня в обман. Доверься мне, Иоганнес. Предоставь мне позаботиться о том, чтобы исполнилось прекраснейшее желание, что лелеешь ты в груди своей. Твоя Цецилия – ты знаешь, какое прелестное существо я разумею... Но покамест помолчим об этом.

То, что ты хотел бы знать об этих ужаснейших событиях в Неаполе, можно рассказать в немногих словах. Прежде всего, нашему достойному брату Киприану не было угодно упомянуть об одном обстоятельстве: Анджела умерла от яда, который он, охваченный адским безумием ревности, подсыпал ей сам. Маэстро Абрагам жил тогда в Неаполе под именем Северино. Он надеялся отыскать следы своей Кьяры и вправду отыскал их, так как он случайно встретил уже известную тебе старуху по имени Магдала Сигрун. Старуха обратилась к нему после всего, что произошло, и прежде чем покинуть Неаполь, вверила ему этот портрет, тайна которого еще скрыта от тебя. Нажми с краю стальную пуговку, портрет Антонио отскочит – он служит лишь крышкой, и тогда ты увидишь не только портрет Анджелы, но тебе еще попадут в руки несколько листков бумаги чрезвычайной важности, ибо в них найдешь ты доказательство двойного убийства. Ты понимаешь теперь, отчего твой талисман столь могуществен. Должно быть, маэстро Абрагаму приходилось сталкиваться с братьями еще и при других обстоятельствах; однако он сам сумеет рассказать тебе все много лучше меня. Теперь же пойдем узнаем, каково состояние брата Киприана.

– А чудо? – спросил Крейслер, взглянув туда, где он сам вместе с аббатом укреплял над маленьким алтарем картину, о которой благосклонный читатель, конечно, еще помнит. Однако он немало был удивлен, снова увидев там «Святое семейство» Леонардо.

– А чудо? – спросил он снова.

– Вы разумеете прекрасную картину, здесь прежде висевшую? – ответил аббат, странно посмотрев на Крейслера. – Я приказал повесить ее в больничном покое. Ее созерцание, наверно, укрепит дух нашего бедного брата Киприана. Быть может, всеблагая еще раз поможет ему.

Вернувшись к себе в комнату, Крейслер нашел письмо от маэстро Абрагама. В нем значилось:

«*Дорогой Иоганнес!*

В путь, в путь! Оставьте аббатство! Спешите сюда. Здесь дьявол заварил себе на потеху такую кашу! Увидимся – скажу больше. А писать мочи нет; все это стало мне поперек горла, душит меня. Обо мне, о звезде надежды, взошедшей передо мной, – ни слова. Спешу сообщить: здесь вы застанете уже не советницу Бенцон, а графиню Эшенау. Из Вены прислан диплом, и предстоящая свадьба Юлии с достойным принцем Игнатием чуть ли не официально объявлена. Князь Ириней занят мыслью о новом троне, где он будет восседать всемогущим властителем. Бенцон, или, верней, графиня Эшенау, обещала ему это. Тем временем принц Гектор играл в прятки, пока его взаправду не отозвали в армию. Вскоре он возвращается, и тогда, верно, сыграют две свадьбы. То-то весело будет! Трубачи прочищают глотки, скрипачи натирают смычки, факельщики в Зигхартсвейлере льют свечи – но! Вскоре день ангела княгини. Тогда я сотворю нечто великое; но вам нужно быть здесь. Лучше являйтесь сейчас же, как прочтете все это. Бегите со всех ног. Скоро увидимся. A propos [[81]](#footnote-80), берегитесь попов. Хотя аббата я и люблю. Прощайте».

Так немногословно и так многозначительно было письмецо старого маэстро, что...

#### ПРИПИСКА ИЗДАТЕЛЯ

Заключая второй том, издатель принужден известить благосклонного читателя о весьма прискорбном событии. Разумного, высокопросвещенного, философического и поэтического кота Мурра посреди его блистательного жизненного поприща настигла неумолимая смерть. Он испустил дух со спокойствием и стойкостью истинного мудреца в ночь с двадцать девятого на тридцатое ноября, после недолгих, но тяжких страданий.

Так еще раз подтвердилась та истина, что с преждевременно созревшими гениями дело на лад не идет. Они или увядают, коснея в безличной и бездушной холодности, и теряются в толпе посредственностей, или же слишком рано уходят из жизни. Бедный Мурр! Смерть твоего друга Муция оказалась предвестником твоей собственной кончины, и если бы мне поручили сказать надгробное слово над твоей могилой, оно шло бы у меня от сердца и не походило бы на речь безучастного Гинцмана; ибо я любил тебя и ты был мне милее многих... Отныне покойся навеки. Мир твоему праху.

Худо, что покойный не успел завершить изложение своих житейских воззрений и запискам его суждено так и остаться фрагментом. Однако среди бумаг, оставленных усопшим, нашлось еще немало максим и замечаний, видимо составленных им в ту пору, когда он жил у Крейслера. Сверх того сохранилась и добрая часть разодранной им книги, содержащей биографию Крейслера.

Посему издатель не видит в том ничего несообразного, ежели в третьем томе, который должен выйти в свет к пасхальной ярмарке, он осмелится сообщить благосклонному читателю вновь найденные отрывки из биографии Крейслера и лишь кое-где в подходящих местах вставит в нее те из максим и замечаний кота, которые достойны опубликования.

### Комментарии

**«Ночные рассказы»** («Nachtst&#252;cke») – сборник новелл Гофмана, изданный впервые в 1817 году.

**...некий нидерландский герой в известной трагедии.** – Мурр ссылается на заключительную сцену трагедии Гете «Эгмонт».

**«Любовь неизмерима к тебе, родимый край!»** – цитата из комической оперы Фердинанда Готтера (1746 – 1797) «Остров духов».

**Что-то схожее описано у Рабле...** – В действительности речь идет о фрагменте из «Сентиментального путешествия» английского писателя Лоренса Стерна (1713 – 1768) – фрагменте, якобы найденном героем этого романа на старом макулатурном листе, который мог принадлежать Рабле. Маэстро Абрагам пересказывает этот отрывок весьма свободно, дав волю своей фантазии и добавляя отсутствующие у Стерна подробности.

**Аталанта** – героиня греческих мифов; славилась быстротой бега и красотой. Искателей своей руки Аталанта вызывала на состязание – ее супругом мог стать лишь тот, кто обгонит ее в беге.

**Орк** (лат.) – подземное царство.

**«F&#234;tes de Versailles»** («Версальские празднества») – книга, вышедшая в Париже в 1664 году и содержащая описание празднеств при дворе короля Людовика XIV.

**...целая когорта стоических сцевол...** – По римскому преданию, Муций, юноша-плебей, попав в плен к врагам и желая доказать презрение к пыткам и смерти, сжег на огне жертвенника свою правую руку, после чего и получил прозвище Сцевола, то есть левша. Имя это стало символом стойкости.

**Эльф Пэк** – персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Гофман имеет в виду сцену из третьего действия комедии, где эльф Пэк устраивает веселую неразбериху.

**...как шекспировский Просперо, мог бы похвалить своего Ариэля...** – ссылка на «Бурю» Шекспира. В заключительной сцене волшебник – повелитель стихий Просперо хвалит прислуживающего ему духа воздуха.

**«Ave maris Stella»** – торжественный и строгий гимн на этот текст написан самим Гофманом в 1808 году.

**Эолова арфа** – инструмент, любимый романтиками за его несколько таинственное и неопределенное звучание; представляет собой резонатор с натянутыми струнами; ветер, пробегая по струнам, заставляет их звучать.

**Ах ты, чувствительный Юст... а где же твой новоявленный Тельгейм?** – Юст – преданный благородный слуга майора Тельгейма в драме Лессинга «Минна фон Барнхельм» (1767). В первом действии Юст рассказывает, как в ситуации, аналогичной той, что описана Гофманом, он спас из канала пуделя.

**Корнелий Непот** – древнеримский историк (ок. 100 – 27 гг. до н. э.), автор многочисленных биографий знаменитых людей древности.

**Базедов** Иоганн (1723 – 1790) – реформатор воспитательной системы в Германии XVIII века. Наряду с многими прогрессивными педагогическими идеями ему присуща известная недооценка индивидуальных особенностей учащихся, стремление подчинить всех одному методу воспитания как единственно правильному.

**Песталоцци** Иоганн-Генрих (1746 – 1827) – выдающийся швейцарский педагог-демократ. Выдвинул идею соединения обучения с производительным трудом.

**Книгге** Адольф (1752 – 1796) – автор популярного в конце XVIII века нравоучительного трактата «Обхождение с людьми».

**Гильмар Курас** – педагог берлинской гимназии, автор труда по чистописанию «Calligraphia Regia» (1714).

**Тассо** Торквато (1544 – 1595) – итальянский поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим»;

**Ариосто** Лодовико (1474 – 1533) – автор героического эпоса «Неистовый Роланд».

**...князь Ириней выронил свое игрушечное государство из кармана во время небольшого променада в соседнюю страну...** – то есть княжество его было присоединено к другому, более крупному германскому государству, пока князь спасался бегством от войск Наполеона.

**Просвещеннейший народ на земле приписывал самим богам странное желание поедать собственных детей...** – По древнегреческому мифу, бог Крон, боясь, что дети отнимут у него власть над миром, приказал своей жене Рее приносить ему рождавшихся детей и проглатывал их. Рея спасла лишь одного Зевса, который, возмужав, восстал на отца.

**«О аппетит, имя тебе – Кот!»** – перефразировка известного изречения Гамлета в трагедии Шекспира: «О непостоянство, имя твое – женщина!»

**...в какой уголок твоего существа запряталась чистая гамма? Или ты вздумала бунтовать против своего хозяина, уверяя, будто слух его убит насмерть ударами молота темперированного строя...** – Так называемый «чистый строй», который ищет Крейслер, основан на акустическом соотношении тонов, заключенных в самой природе звучащего тела. В XVIII веке он был заменен темперированным (то есть равномерным) строем, достигнутым путем механического деления октавы на равные части. В темперированном строе отдельные интервалы не вполне совпадают с их «чистым» звучанием, зато он дает возможность значительно более богатой и стройной системы модуляций. Гофман, подобно другим романтикам, считает, что «истинная музыкальная механика та, которая подслушивает тайну звуков у самой природы, а затем пытается передать их инструменту» («Серапионовы братья»), поэтому натуральный чистый строй он ставит выше «искусственного» – темперированного.

**Амбушюр** – мундштук, употребляемый при игре на духовых инструментах.

**Эммелина** – главная героиня оперы немецкого композитора Иосифа Вейгля (1766 – 1846) «Швейцарское семейство» (1809), популярной в начале XIX века.

**...«вздыхавшие как печь»...** – цитата из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (действие II, сцена 7). Эта комедия была одной из любимейших книг Гофмана, и в своих произведениях он обращается к ней неоднократно.

**Гиппель** Теодор-Готлиб (1741 – 1796) – немецкий писатель-юморист. Крейслер ссылается на его сочинение «О браке».

**Селия** , дочь герцога Фредерика, и ее верная подруга Розалинда – героини комедии Шекспира «Как вам это понравится». Основные сцены этой пьесы, содержащей элементы пасторали, разыгрываются на лоне природы, в Арденнском лесу.

**Мосье Жак** – мудрый и насмешливый меланхолик из комедии «Как вам это понравится»; **Оселок** – философствующий шут из той же пьесы.

**Наравне с небезызвестным поэтом, поселившимся в крошечном домике на берегу журчащего ручья...** – Мурр подразумевает, по всей вероятности, знаменитого итальянского поэта Франческо Петрарку (1304 – 1374); в 1337 году, удалившись из Авиньона, Петрарка поселился в уединенной долине Воклюз, в скромном домике у истоков речки Сорги, где с перерывами прожил шестнадцать лет. В своих произведениях он не раз восторженно писал о прелестях сельского уединения.

**...один знаменитый человеческий писатель...** – выдающийся немецкий ученый, профессор Геттингенского университета и сатирический писатель Георг-Кристоф Лихтенберг (1742 – 1799). В оставшихся после его смерти рукописях, опубликованных в 1800 году под названием «Смешанные статьи», среди «Замечаний о языке» встречается такой афоризм: «Чтобы научиться достаточно хорошо говорить на чужом языке и действительно разговаривать в обществе с настоящим народным произношением, нужно не только иметь память и уши, но до известной степени быть и щеголем».

**«Листья аканта»** – иронический намек на вышедшую в 1817 году в Бамберге книгу немецкого писателя и поэта-романтика Исидора Ориенталио (собственно – Отто-Генриха фон Лёбен; 1785 – 1825) «Листья лотоса».

**...премьер-министр Гинц фон Гинценфельд... столь дорогой для всего рода человеческого под именем Кота в сапогах.** – Гофман имеет в виду героя комедии немецкого романтика Людвига Тика (1773 – 1853) «Кот в сапогах», написанной Тиком на основе известной сказки Перро про кота, который доставил своему хозяину богатство и сам (по Тику) сделался министром при дворе короля Готлиба.

**...из тиковской «Синей бороды»** – «Рыцарь Синяя борода» (1796) – драматическая сказка в 4-х действиях Людвига Тика.

**Ленотр** Андре (1613 – 1700) – садовник-декоратор, прославившийся разбивкой садов и парков классического французского садового стиля, за что Людовик XV даровал ему дворянский титул.

**«Времена года»** – оратория Иозефа Гайдна, одно из выдающихся его сочинений.

**...толкующего, что Моцарт и Бетховен ни черта не смыслили в пении, а Россини, Пуччита и как там еще зовут всех этих пигмеев достигли подлинных высот оперной музыки** . И ниже **...Россини и Пуччита, Павези и Фьораванти и всякие прочие «ини» и «ита».** – Критическое отношение Гофмана к творчеству итальянских оперных композиторов конца XVIII – начала XIX века (Стефано Павези – 1779 – 1850; Винченцо Пуччита – 1778 – 1861; Валентине Фьораванти – 1764 – 1837), характерное для передовых немецких музыкантов (Бетховена, Вебера, Шуберта), обусловлено рядом исторических причин. Итальянские оперы того времени – большей частью заурядные произведения композиторов-эпигонов, написанные по шаблону и рассчитанные на «услаждение слуха» внешне эффектными виртуозными ариями. Пользуясь широкой поддержкой аристократии, эти произведения завоевывали европейские сцены, препятствуя развитию национального искусства. Успех итальянской оперы, особенно усилившийся с появлением Россини, вызвал резкую реакцию передовых деятелей искусства, боровшихся за национальную оперную школу. Неприязнь распространилась и на творчество Россини – наиболее талантливого среди итальянских оперных композиторов того времени, которого Гофман несправедливо ставит в один ряд с ныне забытыми композиторами-эпигонами.

**...двенадцатилотной легкостью...** – Лот – старинная мера веса, равная 1/30 фунта.

**В день Иоанна Златоуста, то есть двадцать четвертого января... родилось дитя...** – В биографии Крейслера очень многие подробности, в том числе и дата рождения, совпадают с фактами жизни Гофмана; заменены лишь некоторые собственные имена. Однако в вышеприведенных строках Гофманом, вероятно сознательно, допущена неточность: день св. Иоанна Златоуста по церковному календарю приходится на 27 января, в этот день родился любимый композитор Гофмана Моцарт. В биографии Крейслера Гофман совмещает обе даты.

**Мурки** – особый вид басового аккомпанемента (состоящего из ряда «ломаных октав») в популярных в Германии XVIII века любительских музыкальных пьесах, которые, по этому виду аккомпанемента, тоже назывались «мурки».

**...покойной тетушкой Фюсхен...** – Гофман рассказывает здесь о младшей сестре его матери, хорошей музыкантше, Шарлотте-Вильгельмине Дёрфер. Она умерла в 1779 году, когда мальчику было всего три года, но ее пенье и игра оставили в его памяти неизгладимый след.

**Кох** Генрих-Кристоф (1749 – 1816) – немецкий музыковед, автор ценного для своего времени «Музыкального лексикона» (1802) и других работ по теории музыки. Описание средневекового музыкального инструмента «морской трубы», приведенное ниже, вполне соответствует истине.

**Эвфон** – редкий музыкальный инструмент, изобретенный в 1790 году немецким физиком Эрнстом Хладни (1756 – 1827) и состоящий из настроенных стеклянных трубочек, которых касались смоченным пальцем. Колебания трубочек передавались стальным пластинкам, с которыми они были соединены. Для широкого использования этот инструмент оказался непригодным.

**Viola digamba** – виола да гамба – старинный струнный смычковый инструмент, предшественник современной виолончели.

**Эссер** Карл-Михаэль (1736 – 1795) – известный немецкий скрипач-виртуоз. Играл также на старинных смычковых инструментах.

**...дядя, что меня воспитывал...** – Отто-Вильгельм Дёрфер. Гофман вырос в его доме, в удушливой атмосфере мелочного педантизма, о которой устами своего героя говорит ниже.

**...Руссо, еще будучи мальчиком... решился сочинить оперу...** – Гофман имеет в виду фрагмент из 7-й книги «Исповеди». Эта часть датирована, однако, 1742 годом, так что Руссо было в то время тридцать лет и элементарные основы гармонии и композиции были ему известны.

**...с младшим братом моего дядюшки...** – другой дядя Гофмана, Иоганн-Людвиг Дёрфер, с 1798 года служил тайным советником посольства в Берлине и был предметом восхищения всей семьи.

**...благодаря полученному образованию...** – Гофман окончил юридический факультет Кенигсбергского университета и долгое время занимал различные юридические должности, будучи прекрасным специалистом в этой области.

**...поднятая для удара палка, как говорится в известной трагедии, точно замерла в воздухе...** – Мурр подразумевает трагедию Шекспира «Гамлет», действие II, сцена 2.

**...носил ту же фамилию, что и небезызвестный юморист...** – Гофман имеет в виду немецкого сатирического писателя Христиана-Людвига Лискова (1701 – 1760).

**...могучий коронованный колосс...** – император Наполеон I. После того как войска Наполеона в 1806 году вступили в Варшаву, где в то время жил и работал Гофман, прусские государственные учреждения были распущены, и Гофман, оказавшись без средств, вынужден был уехать.

**Дамон и Пифий** (Финтий) – легендарная дружеская пара из Сиракуз. Их история послужила сюжетом различных поэтических произведений, в том числе известной баллады Шиллера «Порука».

**Орест и Пилад** – другая дружеская пара, о которой рассказывается в мифах Древней Греции. Имена этих героев стали символами бескорыстной дружбы и готовности к самопожертвованию.

**...под недостойной личиной презренного фигляра, развлекал самые избранные круги общества...** – Подразумевается, вероятно, известный авантюрист и шарлатан граф Калиостро (собственно – Джузеппе Бальзамо; 1743 – 1795), который, путешествуя по Европе под разными именами, выдавал себя за алхимика, заклинателя душ и т. д. и был принят в высшем обществе, пока не угодил в Бастилию.

**...случай с неким храбрым офицером, который совершил бегом прогулку от Лейпцига до Сиракуз...** – Подразумевается прогрессивный немецкий писатель и поэт Иоганн-Готфрид Зейме (1763 – 1810); в 90-е годы XVIII века в Варшаве Зейме служил офицером в русской армии. В 1802 году он совершил пешком путешествие из Лейпцига в Сицилию и обратно, описав его в книге «Прогулка в Сиракузы».

**Спонтини** Гаспаре-Луиджи (1774 – 1851) – известный итальянский оперный композитор, долгие годы работал в Париже.

**«Ah che mi manca l'anima...»** – Этот дуэт был написан самим Гофманом в Бамберге в 1812 году.

**Чимароза** Доменико (1749 – 1801) и **Паизиелло** Джованни (1740 – 1816) – выдающиеся представители итальянской комической оперы. Их музыке, «ласкающей слух», но не глубокой, свойственно большое изящество и мелодическая прелесть. Дуэт Гофмана «Ah che mi manca...» по своему драматизму ближе к стилю Глюка, музыку которого Гофман особенно ценил.

**Ахерон** – по греческой мифологии, река в подземном царстве.

**Катон** Марк Порций (234 – 149 гг. до н. э.) – римский государственный деятель, консул и строгий цензор.

**Галль** Франц-Иозеф (1758 – 1828) – австрийский врач и анатом, исследователь мозга и основатель так называемой френологии – псевдоучения, по которому на основании наружного строения черепа делали заключение об умственных способностях.

**Гаманн** Иоганн-Георг (1730 – 1788) – немецкий философ-идеалист и писатель, друг Гете и Канта. Статьи его отличаются туманным стилем изложения.

**...что когда-то вычитано у Шекспира и Шлегеля!** – Мурр вольно цитирует строки из «Ромео и Джульетты» Шекспира (монолог Джульетты в 3-й сцене IV действия) в переводе Шлегеля.

**...Сервантесову Берганцу, о дальнейшей судьбе коей повествует одна новая и весьма увлекательная книга.** – Гофман подразумевает «Новеллу о беседе собак» Сервантеса, построенную как диалог Сципиона и Берганцы – разумных собак, обладающих даром речи. В 1812 году Гофман написал рассказ «Известия о новейших судьбах собаки Берганца», главным действующим лицом которой является тот же персонаж.

**Приведу вам в пример одного знаменитого врача...** – Гофман подразумевает немецкого врача и писателя Карла-Александра Клуге (1782 – 1844) и его труд «Опыт изложения животного магнетизма как лечебного средства», где Клуге в подтверждение своих положений ссылается на драматическую поэму Шиллера «Валленштейн» (монолог Валленштейна из третьей части трилогии).

Крейслер называет здесь имена художников-пейзажистов разных национальностей, мастеров классического пейзажа: выдающегося французского живописца **Клода Лоррена** (1600 – 1682), голландского художника Клааса **Берггэма** (1620 – 1683) и немецкого пейзажиста Филиппа **Гаккерта** (1737 – 1807).

**...венецианским жаргоном Гоцциевых масок...** – Гоцци Карло (1720 – 1806) – знаменитый итальянский драматург, один из любимых писателей Гофмана; разрабатывал жанр театральной сказки. Персонажи его комедий, близкие старинной итальянской комедии масок, говорили на венецианском диалекте.

**Водяной орган** – был изобретен в Древней Александрии (около 180 г. до н. э.). В отличие от обычного органа, имел водный резервуар; сила воздушной струи, идущей в трубы, регулировалась в нем гидравлическим способом.

**...уж я разобью ее, и пусть тогда сам diable boiteux** (хромой бес) **... предстанет передо мной...** – Намек на роман Алена Лесажа (1668 – 1747) «Хромой бес» (1707); в первой главе романа студент, попав в чужую комнату, слышит таинственный голос, принадлежащий, как оказывается, черту, заключенному в склянку. Разбив ее, студент освобождает черта, который в благодарность оказывает ему ряд услуг.

**Месмер** Франц-Антон (1734 – 1815) – австрийский врач. Его мистическая теория «животного магнетизма» была широко распространена в конце XVIII века во Франции и Германии. Месмер утверждал, что планеты действуют на человека посредством особой «магнитной силы» и человек, овладевший этой силой, может излучать ее на других людей.

**Кемпелен** Вольфганг (1734 – 1804) – австрийский механик, изобретатель различных автоматов. Его «шахматная машина» демонстрировалась им с огромным успехом в разных городах; однако, как выяснилось позже, она была основана на обмане: внутри турка-автомата, игравшего в шахматы, был спрятан искусный шахматный игрок.

**Куниспергер** Иоганн (1436 – 1476), более известный под латинизированным именем Региомонтанус (настоящее имя – Иоганн Мюллер), — выдающийся средневековый математик и астроном из Кенигсберга, автор многих научных трудов, в которых изложены результаты его наблюдений над небесными телами.

**Мансо** Иоганн-Фридрих (1760 – 1826) – ректор гимназии в Бреслау, автор книги «Искусство любви. Поучительная поэма в трех томах».

**«Отважный кот... И я тебя тоже!» – шепнула малютка...** – Первое объяснение Мурра с возлюбленной почти дословно повторяет лирическую любовную сцену Альбано и Линды из романа Жан-Поля Рихтера (1763 – 1825) «Титан»: «Будь моею вечно!» – воскликнул он пылко. «Отважный человек, – ответила она в смущении, – скажи мне, кто ты? Откуда ты меня знаешь? Если ты таков же, как и я, то поклянись и скажи, было ли все это правдой?» и т. д.

**«Кавалер, блуждающий по лабиринту любви»** – роман немецкого писателя Иоганна-Готфрида Шнабеля (1692 – 1750).

**«Крадусь я лесом...»** – Мурр напевает свободный вариант «Вечерней песни охотника» Гете.

**«Ты знаешь край, где рдеют апельсины?..»** – слова из песни Миньоны из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

**...его сиятельный коллега в «Волшебной флейте».** – В опере Моцарта принц Тамино, увидев портрет прекрасной дочери Царицы Ночи, выражает в арии свое восхищение и мгновенно вспыхнувшую любовь.

**Гимн «О sanctissima»** – четырехголосный хор без сопровождения в строгом хоральном стиле, был написан Гофманом в 1808 году.

**Горацио** – друг Гамлета в трагедии Шекспира, свидетель его встречи с призраком покойного отца-короля, встречи, которую Гамлет просит сохранять в тайне.

**«Di tanti palpiti»** – лирическая каватина из оперы Россини «Танкред».

**«Не свижусь я больше с тобой, дорогой!»** – терцет из второго акта «Волшебной флейты» Моцарта, в нем участвуют сопрано, тенор и бас.

**О рать небес! Земля!..** – Мурр цитирует «Гамлета» (монолог Гамлета после встречи с призраком, I действие, 3 сцена).

**«Бывал и я в Аркадии!»** – перефразировка начальной строки стихотворения Шиллера «Отречение» (Resignation).

**...подобно второму Франклину, изобретает громоотводы...** – Франклин Бенджамин (1706 – 1790) – выдающийся американский политический деятель и ученый-физик. Одним из первых исследовал атмосферное электричество и предложил средство защиты от грозового разряда.

**Квартквинтаккорд** – резкое диссонирующее созвучие.

**...знаменитого Горнвиллу в тиковском «Октавиане»...** – В пьесе Людвига Тика «Император Октавиан» (1804) крестьянин Горнвилла называет льва «большой кошкой».

**«Пускай политики болтают»** – песня Леопольда-Фридриха Гюнтера (1748 – 1828); опубликована впервые в 1783 году под названием «Застольной песни».

**«Ессе quam bonum»** – старинная студенческая песня, в которой импровизированные куплеты-соло чередуются с неизменным хоровым рефреном на слова:

*Ессе quam bonum,*

*Bonum et jucundum,*

*Habitare fratres*

*Fratres in unum.*

(Смотри, как прекрасно, когда братья живут единодушно.) На эти же слова Гофман в 1819 году написал «Песню котов-буршей» для пятиголосного мужского хора.

**Аякс** – сын Оилея; по древнегреческим мифам, один из героев Троянской войны. Славился легкостью и быстротой бега.

**Респонзорий** (от лат. responsum – ответ) – одна из наиболее старинных форм католического церковного пения, когда речитативным фразам одного солиста отвечает другой солист или хор.

**...сравнить себя с Тартини – из страха перед местью кардинала Корнаро итальянец удрал в миноритский монастырь в Ассизи.** – Тартини Джузеппе (1692 – 1770) – выдающийся итальянский скрипач, композитор и теоретик. Тайно обвенчавшись с родственницей падуанского кардинала Корнаро и, будучи обвинен в соблазнении и похищении, вынужден был бежать из Падуи в Ассизи, где нашел убежище в монастыре.

**Иоганн-Андреас Зильберман** (1712 – 1783) – один из членов семейства Зильберман – знаменитых органных мастеров XVIII века.

**...как утверждают по праву Мориц, Давидсон...** – Мурр перечисляет фамилии немецких врачей и писателей; работы большинства из них проникнуты духом идеализма и мистицизма.

**Мориц** Карл-Филипп (1756 – 1793) – писатель и поэт, один из представителей движения «бури и натиска». Выступал с лекциями о сновидениях.

**Давидсон** Вольф – с 1772 по 1800 год работал врачом в Берлине; написал книгу «Этюд о сне» (1786).

**Нудов** Генрих – врач и писатель, автор книги «Опыт теории сна» (1791).

**Тидеман** Дитрих (1748 – 1803) – философ-идеалист, профессор Марбургского университета. Писал о сне в работе «Исследования человека».

**Винхольт** Арнольд – автор книги «Целебная сила животного магнетизма по собственным наблюдениям».

**Райль** Иоганн-Христиан (1759 – 1813) – профессор медицины при Берлинском университете, занимался вопросами анатомии мозга и лечения душевнобольных. О сне и грезах писал в работе «О применении психического лечебного метода к душевным расстройствам» (1803).

**...пародия на семикратно отвергнутую ложь Оселка в «Как вам это понравится».** – В пьесе Шекспира шут Оселок, рассказывая о своей ссоре с одним из придворных, утверждает, что, по правилам чести, ложь может быть опровергнута семикратно: в первый раз на нее последует учтивое возражение, во второй – скромная насмешка, далее, последовательно, – грубый ответ, смелый упрек, дерзкая контратака, ложь применительно к обстоятельствам и, наконец, откровенная ложь.

**Палладио** Андреа (собственно – Андреа ди Пьетро да Падова; 1508 – 1580) – выдающийся итальянский архитектор. Его архитектурное творчество, отличающееся гармоничностью и строгостью форм, оказало влияние на архитектуру классицизма и вызвало к жизни «палладианские» течения в зодчестве разных стран.

**Где-то уже говорилось о капельмейстере Иоганнесе Крейслере...** – Гофман имеет в виду первую часть «Крейслерианы».

**И когда наступил черед «Agnus Dei»...** – Гофманом написано несколько церковных музыкальных произведений; до нас дошел его «Agnus Dei» из мессы ре минор – произведение, проникнутое искренним лиризмом и драматизмом, напоминающее по стилю некоторые страницы «Реквиема» Моцарта.

**Нотариус Пистофолус** – главный герой оперы Паизиелло «Мельничиха», влюбляется в молодую мельничиху и предлагает ей руку и сердце.

**«Немецкий отец семейства»** – сентиментальная пьеса немецкого драматурга Отто-Генриха Геммингена (1755 – 1836), написанная им в подражание «Отцу семейства» Дидро.

**«В будни веником метет, а в праздник лучше всех обнимет и прижмет...»** – См. «Фауст» Гете, часть первая, сцена «У ворот».

**«...где ж теперь твои веселые прыжки? Где ж твоя резвость, твоя жизнерадостность, твое ясное радостное «мяу», увеселявшее все сердца?»** – В пародийной надгробной речи Гофман заставляет кота подражать монологу Гамлета над черепом Йорика (сцена на кладбище из V действия): «Где теперь твои шутки? Твои песни? Твои вспышки веселья, от которых всякий раз хохотал весь стол?» и т. д.

**...истинно золотых дней Аранхуэца, ныне уже миновавших...** – Намек на начало драматической поэмы Шиллера «Дон Карлос»: «Да, золотые дни в Аранхуэце пришли к концу...»

**«Говорят, он умереть хотел!»** – цитата из поэмы Шиллера «Смерть Валленштейна» (IV действие, 10 явление).

**...подобная музыка годна для суетного мира, а не для церкви, откуда папа Марцелл Второй справедливо хотел изгнать ее вовсе...** – В середине XVI века, в период контрреформации, католическая церковная музыка, достигшая к тому времени высокого развития, подверглась осуждению со стороны церковных властей за слишком, по их мнению, «светский» характер культовых напевов и чрезмерную полифоническую усложненность письма, препятствующую пониманию богослужебного текста. Вопросам музыкальной реформы был посвящен ряд заседаний известного Тридентского собора (1545 – 1563). Преобразователем церковной музыки явился Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (см. ниже, стр. 613), произведения которого, отличающиеся строгой, величавой простотой, удовлетворили требованиям всех партий.

**Арпе** Петер-Фридрих (1682 – 1748) – филолог и юрист. Его сочинение «О чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами» (1717) появилось в немецком переводе в 1792 году.

**Беккер** Бальтазар (1634 – 1698) – свободомыслящий богослов. В книге «Волшебный мир», вышедшей в Амстердаме в 1679 году, Беккер смело выступил против средневековых суеверий, веры в чертей и демонов, за это был обвинен правящим духовенством в вольнодумстве и отлучен от церкви.

**«О достопамятных вещах» Франческо Петрарки...** – Имеется в виду сочинение Петрарки «De rebus memorandis» – собрание фактов и анекдотов из древних латинских писателей и современной автору жизни, включающее также короткие новеллы-анекдоты самого Петрарки, которыми он стремился иллюстрировать развитие различных способностей человека.

**«Но вы моя... Не все еще погибло!»** – С таким восклицанием в трагедии Шиллера «Орлеанская дева» король Карл VII, узнав о разгроме французского войска, осаде Орлеана и бедствиях страны, обращается к своей возлюбленной Агнесе Сорель.

**«Che dolce piu...»** – начало 31-й песни поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

**Пикар** Луи-Бенуа (1769 – 1828) – французский драматург; лучшее из его наследия – бытовые стихотворные комедии.

**Жан Жак Руссо, приводя в своей «Исповеди» историю о том, как он украл ленту...** – Гофман имеет в виду конец второй книги «Исповеди», случай во время пребывания Руссо в доме госпожи де Верселис.

**Некто спросил одного композитора...** – Речь идет о знаменитом австрийском композиторе Иозефе Гайдне (1732 – 1809).

**...о другом своем великом духовном творении...** – об оратории Гайдна «Сотворение мира» (1798).

**...кота Мурра посреди его блистательного жизненного поприща настигла неумолимая смерть.** – Высокообразованный гофмановский Мурр имел своего реального прототипа – кота, которого подарили Гофману совсем еще маленьким в 1818 году. Писатель не раз говорил друзьям, что его воспитанник отличается необыкновенным умом и красотой. Незадолго до окончания романа, в ноябре 1821 года, кот Мурр умер. Гофман писал об этом другу: «*Ночью Мурр стал жалобно мяукать... Когда я приподнял укрывавшее его одеяльце, он посмотрел на меня с совершенно человеческим выражением во взгляде, как бы прося вылечить его... Я не мог вынести этого взгляда, опять укрыл его и лег в постель; он издох утром, и теперь весь дом кажется мне и жене пустым* ». Опечаленный писатель послал своим друзьям траурное извещение, в котором говорилось: «*В ночь с 29 на 30 ноября с. г. скончался, чтобы проснуться в лучшем мире, мой дорогой воспитанник кот Мурр на четвертом году своей жизни, полной надежд. Тот, кто знал обессмертившего себя юношу, кто видел его идущим по пути добродетели и справедливости, разделит мою скорбь и почтит его молчанием.*

*Берлин, 1 декабря 1821 г.* ».

1. Вы большой (франц.). [↑](#footnote-ref-0)
2. Спокойной ночи (франц.). [↑](#footnote-ref-1)
3. Известная студенческая песня «Будем веселиться» (лат.). [↑](#footnote-ref-2)
4. Юноша (лат.). [↑](#footnote-ref-3)
5. Могила, могильная насыпь; это ошибка: в песне – humus – земля. [↑](#footnote-ref-4)
6. «Смотри, как славно...» (лат.). [↑](#footnote-ref-5)
7. Штраф (лат.). [↑](#footnote-ref-6)
8. Конец венчает дело (франц.). [↑](#footnote-ref-7)
9. Привязан к земле (лат.). [↑](#footnote-ref-8)
10. Но прежде всего выпьем (лат.). [↑](#footnote-ref-9)
11. Бога ради (лат.). [↑](#footnote-ref-10)
12. Процветаете (лат.). [↑](#footnote-ref-11)
13. Выпьем (лат.). [↑](#footnote-ref-12)
14. Дражайший (лат.). [↑](#footnote-ref-13)
15. Итак, выпьем (лат.). [↑](#footnote-ref-14)
16. Надо различать одно от другого (лат.). [↑](#footnote-ref-15)
17. Итак, выпьем. Благоразумный человек не будет пренебрегать тобою, господин! (лат.). [↑](#footnote-ref-16)
18. Почему, как, когда, где (лат.). [↑](#footnote-ref-17)
19. Вот где собака зарыта (лат.). [↑](#footnote-ref-18)
20. Надо выпить (лат.). [↑](#footnote-ref-19)
21. С ними на виселицу (лат.). [↑](#footnote-ref-20)
22. Отсутствуют (лат.). [↑](#footnote-ref-21)
23. От вражеских козней (лат.). [↑](#footnote-ref-22)
24. «Собирайтесь, братья» (лат.). [↑](#footnote-ref-23)
25. Сброд (франц.). [↑](#footnote-ref-24)
26. Хвала господу! (франц.). [↑](#footnote-ref-25)
27. Вне битвы (франц.). [↑](#footnote-ref-26)
28. Кто себе не помогает, тот себе вредит (итал.). [↑](#footnote-ref-27)
29. Благословен приходящий во имя господне (лат.). [↑](#footnote-ref-28)
30. «Агнец божий» (лат.). [↑](#footnote-ref-29)
31. «Господи помилуй» (греч.). [↑](#footnote-ref-30)
32. «Даруй нам мир» (лат.). [↑](#footnote-ref-31)
33. Под маской (франц.). [↑](#footnote-ref-32)
34. Любовника (итал.). [↑](#footnote-ref-33)
35. Да сгинет! (лат.). [↑](#footnote-ref-34)
36. Так что (франц.). [↑](#footnote-ref-35)
37. Ума (франц.). [↑](#footnote-ref-36)
38. Дурачок (франц.). [↑](#footnote-ref-37)
39. Между нами говоря (франц.). [↑](#footnote-ref-38)
40. Оставим это! (франц.). [↑](#footnote-ref-39)
41. Праведное небо! (франц.). [↑](#footnote-ref-40)
42. Поединок (франц.). [↑](#footnote-ref-41)
43. Ах, негодяй! (франц.). [↑](#footnote-ref-42)
44. Слабости (франц.). [↑](#footnote-ref-43)
45. Самообладание (франц.). [↑](#footnote-ref-44)
46. Я был (франц.). [↑](#footnote-ref-45)
47. Вот и все! (франц.). [↑](#footnote-ref-46)
48. Привязанность (франц.). [↑](#footnote-ref-47)
49. Клянусь честью (франц.). [↑](#footnote-ref-48)
50. Что делать? (франц.). [↑](#footnote-ref-49)
51. Скотина! (франц.). [↑](#footnote-ref-50)
52. «Жалуюсь молча» (итал.). [↑](#footnote-ref-51)
53. Профессором поэзии и красноречия (искаженная латынь). [↑](#footnote-ref-52)
54. «Из бездны» (лат.). [↑](#footnote-ref-53)
55. Вручение без церемоний (лат.). [↑](#footnote-ref-54)
56. Жизнеописание (лат.). [↑](#footnote-ref-55)
57. Господин, господин капельмейстер, на минутку! (лат.). [↑](#footnote-ref-56)
58. Господин, господин Крейслер (лат.). [↑](#footnote-ref-57)
59. Вижу тайну (лат.). [↑](#footnote-ref-58)
60. В келье и славно подзаправимся (лат.). [↑](#footnote-ref-59)
61. Любезнейший господин (лат.). [↑](#footnote-ref-60)
62. Теперь я докажу! (лат.). [↑](#footnote-ref-61)
63. «О чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами» (лат.). [↑](#footnote-ref-62)
64. В сущности (франц.). [↑](#footnote-ref-63)
65. Чести (франц.). [↑](#footnote-ref-64)
66. Вперед! (франц.). [↑](#footnote-ref-65)
67. «Жак Фаталист» (франц.). [↑](#footnote-ref-66)
68. До свидания (франц.). [↑](#footnote-ref-67)
69. Негодяй! (франц.). [↑](#footnote-ref-68)
70. Мой сын! (франц.). [↑](#footnote-ref-69)
71. Возможно ли! (франц.). [↑](#footnote-ref-70)
72. И довольно! (франц.). [↑](#footnote-ref-71)
73. Мой друг (франц.). [↑](#footnote-ref-72)
74. Уходите, убирайтесь! Прочь отсюда, сейчас же! (франц.). [↑](#footnote-ref-73)
75. Здесь – нюхательные капли (франц.). [↑](#footnote-ref-74)
76. Честное слово (франц.). [↑](#footnote-ref-75)
77. Господи, освободи нас от этого монаха! (лат.) [↑](#footnote-ref-76)
78. Привет тебе, царица (лат.). [↑](#footnote-ref-77)
79. Регент хора (лат.). [↑](#footnote-ref-78)
80. Монах в монастыре не стоит и двух яиц, но когда он за его пределами – он стоит тридцати (лат.). [↑](#footnote-ref-79)
81. Кстати (франц.). [↑](#footnote-ref-80)